

- [Е.Тарле](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
-

Е.Тарле
ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
НАХИМОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нынешние черноморские моряки, герои новой обороны Севастополя, любят называть себя «нахимовскими внуками». Если внуки гордятся своим великим дедом, то как бы гордился ими он, славнейший из всех флотоводцев, вышедший из русского народа! Что сказал бы он, если бы видел, как обучены, как накормлены, как обуты, одеты, вооружены теперь моряки, если бы мог предугадать, что его обращение с обожавшими его моряками станет господствующим правилом для всего нашего флота?

В этой небольшой книге, которую я посвящаю нашим героям-краснофлотцам, мне хотелось хоть в самой сжатой форме упомянуть одного из вождей, создавших великую и навеки славную военную традицию русского народа.

Теперь, когда краснофлотцы показывают ежедневно примеры героизма в борьбе с наиболее подлым и презренным врагом из всех, с которыми русскому народу приходилось сталкиваться за всю его тысячелетнюю историю, рассказ о великом флотоводце, о великом патриоте и воспитателе морских бойцов, быть может, окажется нелишним.

Автор

Павел Степанович Нахимов родился в 1803 году в семье небогатых смоленских дворян. Отец его был офицером и еще при Екатерине вышел в отставку со скромным чином секунд-майора.

Еще не окончились детские годы Нахимова, как он был зачислен в Морской кадетский корпус. Учился он блестяще и уже пятнадцати лет от роду получил чин мичмана и назначение на бриг «Феникс», отправлявшийся в плавание по Балтийскому морю.

И уже тут обнаружилась любопытная черта нахимовской природы, сразу обратившая на себя внимание его товарищей, а потом сослуживцев и подчиненных. Эта черта, замеченная окружающими уже в пятнадцатилетнем гардемарине, оставалась господствующей и в седеющем адмирале вплоть до того момента, когда французская пуля пробила ему голову. Охарактеризовать эту черту можно так: морская служба была для Нахимова не важнейшим делом жизни, каким она была, например, для его учителя Лазарева или для его товарищей Корнилова и Истомина, а единственным делом, иначе говоря: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел и просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он забыл влюбиться, забыл жениться. Он был фанатиком морского дела, по единодушным отзывам очевидцев и наблюдателей.

Усердие, или, лучше сказать, рвение к исполнению своей службы во всем, что касалось морского ремесла, доходило в нем до фанатизма, и он с восторгом принял приглашение М. П. Лазарева служить у него на фрегате, названном новым тогда именем «Крейсер».

Три года плывал он на этом фрегате, сначала в качестве мичмана, а с 22 марта 1822 года в качестве лейтенанта, и здесь-то и сделался одним из любимых учеников и последователей Лазарева. После трехлетнего кругосветного плавания с фрегата «Крейсер» Нахимов перешел (все под начальством Лазарева) в 1826 году на корабль «Азов», на котором и принял выдающееся участие в Наваринском морском бою в 1827 году против турецкого флота. Из всей соединенной эскадры Англии, Франции и России ближе всех подошел к неприятелю «Азов», и во флоте говорили, что «Азов» громил турок с расстояния не пушечного выстрела, а пистолетного выстрела. Нахимов был ранен. Убитых и раненых на «Азове» было в

наваринский день больше, чем на каком-либо ином корабле трех эскадр, но и вреда неприятелю «Азов» причинил больше, чем наилучшие фрегаты командовавшего соединенной эскадрой английского адмирала Кодрингтона.

Так начал Нахимов свое боевое поприще.

Вот что говорит об этих первых блистательных шагах Нахимова близко наблюдавший моряк-современник:

«В Наваринском сражении он получил за храбрость георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта. Во время сражения мы все любовались «Азовом» и его отчетливыми маневрами, когда он подходил к неприятелю на пистолетный выстрел. Вскоре после сражения я видел Нахимова командиром призового корвета «Наварин», вооруженного им в Мальте со всевозможной морской роскошью и щегольством, на удивление англичан, знатоков морского дела. В глазах наших... он был труженик неутомимый. Я твердо помню общий тогда голос, что Павел Степанович служит 24 часа в сутки. Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться, а веровали в его призвание и преданность самому делу. Подчиненные его всегда видели, что он работает больше их, а потому исполняли тяжелую работу без ропота и с уверенностью, что следует им или в чем можно сделать облегчение, командиром не будет забыто».

Двадцати девяти лет от роду он стал командиром только что выстроенного тогда (в 1832 году) фрегата «Паллада», а в 1836 году — командиром «Силистрии» и спустя несколько месяцев произведен в капитаны 1-го ранга. «Силистрия» плавала в Черном море, и корабль выполнил за девять лет своего плавания под флагом Нахимова ряд трудных и ответственных поручений.

Лазарев безгранично доверял своему ученику. В 1845 году Нахимов был произведен в контр-адмиралы, и Лазарев сделал его командиром 1-й бригады 4-й флотской дивизии. Его моральное влияние на весь Черноморский флот было в эти годы так огромно, что могло сравниться с влиянием самого Лазарева. Дни и ночи он отдавал службе: то выходил в море, то стоял на Графской пристани в Севастополе, зорко осматривая все входящие в гавань и выходящие из гавани суда. По единодушным записям очевидцев и современников, от него решительно ничто не ускользало, и его замечаний и выговоров страшились все, начиная с матросов и кончая седыми адмиралами, которым Нахимов вовсе не имел ни малейшего права делать замечания по той простой причине, что они были чином выше его. Но Нахимов этим обстоятельством решительно никогда не затруднялся.

На пристани, на море была его служба, там же были и все его

удовольствия. Денег у него водилось всегда очень мало, потому что каждый лишний рубль он отдавал матросам и их семьям, а лишними рублями у него назывались те, которые оставались после оплаты квартиры в Севастополе и расходов на стол, тоже не очень отличавшийся от боцманского.

На службу в мирное время он смотрел только как на подготовку к войне, к бою, к тому моменту, когда человек должен полностью проявить все свои моральные силы. Еще во время кругосветного плавания лейтенант Нахимов однажды чуть не погиб, спасая упавшего в море матроса; в 1842 году командир «Силистрии» Нахимов бросился без всякой нужды в самое опасное место, когда на «Силистрию» наскочил корабль «Адрианополь». А когда офицеры недоумевали, зачем он так дразнит судьбу, Нахимов отвечал: «В мирное время такие случаи редки, и командир должен ими воспользоваться. Команда должна видеть присутствие духа в своем командире; ведь, может быть, мне придется идти с ней в сражение».

Ведя себя так и высказывая такие мысли, Нахимов шел по стопам своего учителя и начальника Михаила Петровича Лазарева, главного командира Черноморского флота.

М. П. Лазарев создал в морском ведомстве того времени свою особую школу, свою традицию, свое направление, ровно ничего общего не имевшие с господствовавшим в остальном флоте, и его ученики — Корнилов, Нахимов, Истомин — продолжили и упрочили эту традицию. Лазарев требовал от своих офицеров моральной высоты, о которой николаевский командный состав в своей массе никогда и не помышлял. Он требовал такого обращения с матросами, которое готовило бы из них дееспособных воинов, а не игрушечных солдатиков для забавы «высочайших» лиц на смотрах и парадах: телесное наказание, царившее тогда во всех флотах (и додержавшееся в английском флоте до мировой войны), не было отменено и лазаревской школой, но оно стало на черноморских судах редкостью. Внешнее чинопочитание было на судах, управляемых лазаревскими учениками, сведено к минимуму; и сухопутные офицеры в Севастополе жаловались, что адмирал Нахимов разрушает дисциплину. Лазарев, Нахимов, Корнилов воспитывали в матросах сознательную любовь к России и успели воспитать желание и умение бороться за нее, защищать ее.

Но и в этой лазаревской школе моряков Нахимов занял особое место. Был он необыкновенный добряк по натуре — это во-первых; а во-вторых, как уже сказано, он был в полном смысле слова фанатиком морской службы: он не имел ни в молодости, ни в зрелом возрасте семьи, не имел

«сухопутных» друзей, не имел никаких привязанностей, кроме как на кораблях и около кораблей, потому что для него Севастополь, Петербург, Лондон, Архангельск, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Сухум-Кале были не города, а лишь якорные стоянки. Все эти его свойства сделали то, что на матросов он стал смотреть как на свою единственную, правда большую, семью.

Когда он, начальник порта, адмирал, командир больших эскадр, выходил на Графскую пристань в Севастополе, там происходили любопытные сцены, одну из которых со слов очевидца, князя Путятина, передает лейтенант П. И. Белавенец. Утром Нахимов приходит на пристань. Там, сняв шапки, уже ожидают адмирала старики, отставные матросы, женщины и дети — все обитатели Южной бухты из севастопольской матросской слободки. Увидев своего любимца, эта ватага мигом, безбоязненно, но с глубочайшим почтением окружает его, и, перебивая друг друга, все разом обращаются к нему с просьбами... «Постойте, постойте-с, — говорит адмирал, — всем разом можно только «ура» кричать, а не просьбы высказывать. Я ничего не пойму-с. Старик, надень шапку и говори, что тебе надо».

Старик матрос, на деревянной ноге и с костылями в руке, привел с собой двух маленьких девочек, своих внучек, и прошамкал, что он с малютками одинок, хата его продырявилась, а починить некому. Нахимов обращается к адъютанту: «...Прислать к Позднякову двух плотников, пусть они ему помогают». Старик, которого Нахимов вдруг назвал по фамилии, спрашивает: «А вы, наш милостивец, разве меня помните?» — «Как не помнить лучшего маляра и плясуна на корабле «Три святителя»... «А тебе что надо?» — обращается Нахимов к старухе. Оказывается, она, вдова мастера из рабочего экипажа, голодает. «Дать ей пять рублей!» — «Денет нет, Павел Степанович!» — отвечает адъютант, заведовавший деньгами, бельем и всем хозяйством Нахимова. «Как денег нет? Отчего нет-с?» — «Да все уже прожиты и розданы!» — «Ну, дайте пока из своих». Но у адъютанта тоже нет таких денег. Пять рублей, да еще в провинции, были тогда очень крупной суммой. Тогда Нахимов обращается к мичманам и офицерам, подошедшим к окружающей его толпе: «Господа, дайте мне кто-нибудь займы пять рублей!» И старуха получает ассигнованную ей сумму. Нахимов брал в долг в счет своего жалованья за будущий месяц и раздавал направо и налево. Этой его манерой иногда и злоупотребляли. Но, по воззрениям Нахимова, всякий матрос уже в силу своего звания имел право на его кошелек.

Нахимов настойчиво старался внушить подчиненным ему офицерам те

идеи, которыми сам он был одушевлен и которые не походили на общепринятые тогда в этой среде воззрения. «Мало того что служба представится нам в другом виде, — говорил Нахимов, — да сами-то мы совсем другое значение получим на службе, когда будем знать, как на кого нужно действовать. Нельзя принять поголовно одинаковую манеру со всеми. Подобное однообразие в действиях начальника показывает, что нет у него ничего общего со своими подчиненными и что он совершенно не понимает своих соотечественников. А это очень важно. Офицеры, глубоко презирающие сближение со своими соотечественниками-простолюдинами, не найдут должного тона. А вы думаете, что матрос не заметит этого? Заметит лучше, чем наш брат! Мы говорить умеем лучше, чем замечать, а последнее уже их дело. А каково пойдет служба, когда все подчиненные будут наверно знать, что начальники их не любят и презирают их? Вот настоящая причина, что на многих судах ничего не выходит и что некоторые молодые начальники одним только страхом хотят действовать. Страх подчас хорошее дело, да согласитесь, что не натуральная вещь — несколько лет работать напропалую ради страха. Необходимо поощрение сочувствием; нужна любовь к своему делу-с, тогда с нашим лихим народом можно такие дела делать, что просто чудо. Удивляют меня многие молодые офицеры: от русских отстали, к французам не пристали, на англичан также непохожи; своих презирают, чужому завидуют, своих выгод совершенно не понимают. Это никуда не годится!»

Для Нахимова не подлежало сомнению, что классовое чванство офицеров — гибельное дело для службы, и он это открыто высказывал: «Пора нам перестать считать себя помещиками, а матросов крепостными людьми!» И снова и снова он повторяет свою излюбленную мысль: «Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него действуют. Матрос управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля; матрос бросится на abordаж, если понадобится. Все сделает матрос, если мы, начальники, не будем эгоистичны, ежели не будем смотреть на службу как на средство для удовлетворения своего честолюбия, а на подчиненных — как на ступени для собственного возвышения.

Матросы — основная военная сила флота. Вот кого нам нужно возвышать, учить, возбуждать в них смелость, геройство, ежели мы не себялюбивы, а действительные слуги Отечества». Нахимов вспоминает знаменитую победу Нельсона над французским и испанским флотом 21 октября 1805 года. «Вы помните Трафальгарское сражение? Какой там был маневр — вздор-с! Весь маневр Нельсона заключался в том, что он знал

слабость неприятеля и свою силу и не терял времени, вступая в бой. Слава Нельсона заключается в том, что он постиг дух народной гордости своих подчиненных и одним простым сигналом возбудил запальчивый энтузиазм в простолюдинах, которые были воспитаны им и его предшественниками. Вот это-то воспитание и составляет основную задачу; вот чему я посвятил себя, для чего тружусь неусыпно и, видимо, достигаю своей цели: матросы любят и понимают меня. Я эту привязанностью дорожу больше чем отзывом чванных дворянчиков-с! У многих командиров служба не клеится на судах оттого, что они неверно понимают значение дворянина и презирают матросов, забывая, что у мужиков есть ум, душа и сердце, так же как у всякого другого».

Нахимов просто отказывался понять, что у морского офицера может быть еще какой-нибудь интерес, кроме службы. Он говорил, что необходимо, чтобы матросы и офицеры постоянно были заняты, что праздность на судне не допускается, что ежели на корабле работы идут хорошо, то нужно придумывать новые... Офицеры тоже должны быть постоянно заняты. Есть свободное время — пусть занимаются с матросами обучением грамоте или пишут за них письма на родину. Ухтомский, начинавший службу под начальством Нахимова, передает еще: «Все ваше время и все ваши средства должны принадлежать службе, — ораторствовал Павел Степанович. — Например, зачем мичману жалованье? Разве только затем, чтобы лучше выкрасить и отделать вверенную ему шлюпку или при удачной шлюпочной гонке дать гребцам по чарке водки, — иначе офицер от праздности или будет пьянствовать, или станет картежником, или будет развратничать, а ежели вы и от природы ленивы, сибариты, то лучше выходите в отставку». Тратя все свое адмиральское жалованье не на себя, а на корабль и на матросов, Нахимов искренне не понимал, почему бы и мичману не делать того же.

Замечательно, что близко наблюдавшие Нахимова не могли говорить впоследствии ни о Синопе, ни о Севастополе, не подчеркивая огромного значения личного влияния адмирала на свою команду, объясняя именно этим его успех. Вот одно из подобных высказываний:

«Синоп, поразивший Европу совершенством нашего флота, оправдал многолетний образовательный труд адмирала М. П. Лазарева и выставил блестящие военные дарования адмирала П. С. Нахимова, который, понимая черноморцев и силу своих кораблей, умел управлять ими. Нахимов был типом моряка-воина, личность вполне идеальная... Доброе, пылкое сердце, светлый, пытливый ум, необыкновенная скромность в заявлении своих заслуг. Он умел говорить с матросом по душе, называя каждого из них при

объяснении другом, и был действительно для них другом. Преданность и любовь к нему матросов не знали границ. Всякий, кто был на севастопольских бастионах, помнит необыкновенный энтузиазм людей при ежедневных появлениях адмирала на батареях. Истомленные донельзя матросы, а с ними и солдаты воскресали при виде своего любимца и с новой силой готовы были творить и творили чудеса. Это секрет, которым владели немногие, только избранники, и который составляет душу войны... Лазарев поставил его образцом для черноморцев».

Наступил 1853 год. Надвинулись сразу навеки памятные грозные события мировой истории — Нахимов со своими матросами оказался на посту.

II

Черные тучи сгустились катастрофически быстро и обложили со всех сторон политический горизонт. Начинается война с Турцией; позиция Наполеона III и Пальмерстона делается все более угрожающей. И в Петербурге понемногу крепнет сознание, что живые опасения наместника Кавказа князя М. С. Воронцова имеют реальнейшее основание и отнюдь не объясняются только старостью умного и лукавого Михаила Семеновича. Если турки, а за ними французы и англичане в самом деле подадут вовремя существенную помощь Шамилю, то Кавказ для России будет потерян и попадет в руки союзников. Нужного количества войск на Кавказе нет — это одно. А другое: турецкая эскадра снабжает восточное Кавказское побережье оружием и боеприпасами. Отсюда вытекают два непосредственных задания русскому Черноморскому флоту: во-первых, в самом спешном порядке перевести более или менее значительные военные подкрепления из Крыма на Кавказ и, во-вторых, обезвредить разгуливающие в восточной части Черного моря турецкие военные суда.

Оба эти дела и осуществил Нахимов.

13 сентября 1853 года в Севастополе было получено экстренное приказание немедленно перевезти из Севастополя в Анакрию пехотную дивизию с артиллерией. На Черном море было очень беспокойно не только вследствие равноденственных сентябрьских бурь, но и вследствие близкой войны с Турцией и упорных слухов об угрожающей близости французских и английских судов к проливам.

Нахимов взял на себя эту труднейшую операцию. Уже через четыре дня после получения приказания не только все собранные им суда были совершенно готовы к отплытию, но на них уже находились и разместились в полном порядке все назначенные войска: 16 батальонов пехоты с двумя батареями — 16 393 человека, 624 лошади и все необходимые грузы. 17 сентября Нахимов вышел в море, а ровно через семь суток, 24 сентября, пришел утром в Анакрию, и в 5 часов вечера в тот же день он уже закончил высадку всех войск и орудий на берег. Для этой блистательно выполненной операции у Нахимова было в распоряжении лишь 14 парусных кораблей (из них два фрегата), 7 пароходов и 11 транспортных судов. Войска были доставлены в наилучшем состоянии: больных солдат оказалось всего лишь 7 человек, а из матросов эскадры — 4 человека. Моряки-специалисты называют этот переход «баснословно счастливым», исключительным в

военно-морской истории и для сравнения указывают, что англичане в свое время перевезли подобное же количество войск более чем на двухстах военных и транспортных судах.

Покончив с одной задачей, Нахимов взялся за другую, еще более опасную и сложную: найти на Черном море турецкую эскадру и сразиться с ней. Но тут он оказался флотоводцем, база которого находится не в его руках, а зависит от человека, вовсе не желающего считаться с критическим положением адмирала, рыщущего по бурному морю в поисках неприятеля.

Князь Меншиков, главнокомандующий Крымской армией и Черноморским флотом, был фактически морским министром, но никогда не был моряком, никогда не управлял кораблем и понятия не имел, даже самого отдаленного, о морских боях. Вот почему, конечно, ему и в голову не могло прийти самому выйти в море и среди октябрьских шквалов искать турок, чтобы с ними сразиться. И что бы он ни писал Корнилову, якобы желая «назначения пункта соединения», никуда он ни для каких «соединений» с Корниловым ехать из Севастополя не собирался. У него был Нахимов, уже крейсировавший около анатолийского берега, и был Корнилов, которого князь и отправил в море 28 октября. По обыкновению (когда дело касалось войны и военных действий), Меншиков предсказал нечто диаметрально противоположное тому, что случилось на самом деле: он писал Горчакову за 16 дней до Синопа, что эскадры Корнилова и Нахимова, «вероятно», никого в море не встретят, кроме нескольких транспортных или паровых судов, да и те укроются в портах.

А на самом деле уже 5 ноября Корнилов встретил и взял с боя турецкий (египетский) пароход «Перваз-Базри», шедший из Синопа. Затем Корнилов на «Владимире» вернулся в Севастополь, а Новосильскому приказал найти Нахимова и усилить его эскадру двумя кораблями.

Когда Нахимов дал знать о том, что силы турок в Синопе, по дополнительным его наблюдениям, больше, чем он раньше доносил, Меншиков довольно поздно сообразил всю опасность крейсерки Нахимова возле Синопа и послал ему подкрепление. Но сделано это было запоздало. И в результате все-таки ни одного парового судна у Нахимова под Синопом не оказалось, а спешно вышедший с эскадрой, где были три парохода, Корнилов, как увидим, опоздал и подоспел в Синопскую бухту, когда уже сражение окончилось.

С конца октября, все время при очень бурной погоде, Нахимов крейсировал между Сухумом и той частью турецкого (анатолийского) побережья, где главной гаванью является Синоп. Были получены сведения, что на этот раз турки намерены уже не только переправить горцам

боеприпасы, но и высадить на кавказском берегу целый десантный отряд. У Нахимова было сначала, после встречи 5 ноября с Новосильским, пять больших кораблей, на каждом из которых имелось по 84 орудия: «Императрица Мария», «Чесма», «Ростислав», «Святослав», «Храбрый» и, кроме того, фрегат «Коварна» и бриг «Эней». Еще 2(14) ноября вечером приказом по эскадре Нахимов объявил, что имеет в виду сразиться с неприятелем. Этот приказ живо напоминает, что за двадцать шесть лет, прошедших со времени Наваринской битвы, тактические приемы Нахимова нисколько не изменились и что он по-прежнему считает, так же как и его учитель командир «Азова» при Наварине М. П. Лазарев, наиболее целесообразным, не щадя себя, подходить к неприятелю не на орудийный, а на пистолетный выстрел. Вот как кончался приказ, прочитанный командам вечером 2 ноября: «Не распространяясь в наставлениях, я выскажу свою мысль, что в морском деле близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика. Уведомляю командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело».

Но турки не показывались. Нахимов уже 3 ноября знал, что из Севастополя вышел, тоже для поисков турецкого флота, Корнилов с шестью кораблями. 5-го числа Корнилов отделил от своей эскадры Новосильского, который вечером того же 5 ноября встретился с эскадрой Нахимова. Именно Новосильский и отделил от своей эскадры Нахимову «Ростислава» и «Святослава» взамен кораблей, потрепанных бурей и отправленных Нахимовым в Севастополь для починки. 8 ноября разразилась жестокая буря, и Нахимов отправил опять четыре корабля в Севастополь чиниться. Положение было довольно критическое, потому что судов у него оставалось мало, а по морю бродили не очень далеко турецкие эскадры. Очень сильный ветер продолжался и после бури 6-го числа. Нахимов подошел к Синопу 11 ноября и немедленно отрядил из своей эскадры бриг «Эней» с известием, что на Синопском рейде стоит большая турецкая эскадра (семь фрегатов, два парохода, два корвета, один шлюп). Положение Нахимова было в этот момент более чем затруднительным. Но он решил со своими малыми силами все-таки блокировать гавань и ждать скорейшей присылки подкреплений из Севастополя. Он просил у Меншикова немедленной присылки отправленных для починки кораблей «Храброго» и «Святослава», фрегата «Коварна» и парохода «Бессарабия», а также выражал недоумение, почему не присылают ему фрегат «Куленчи», который больше месяца стоит в Севастополе. Нахимов, которого упрекали, что он слишком привык к парусному флоту и будто бы недооценил

значение флота парового, вот что писал того же 11 (23) ноября Меншикову: «В настоящее время в крейсерстве пароходы необходимы, и без них — как без рук: если есть в Севастополе свободные, то я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство прислать ко мне в отряд по крайней мере два».

Нахимов получил наконец подмогу, и 17(29) ноября у него было шесть больших кораблей («Мария», «Париж», «Три святителя», «Константин», «Ростислав» и «Чесма») и два фрегата («Кагул» и «Кулевчи»). Эскадра Нахимова в этот момент могла дать с одного борта залп весом в 378 пудов 13 фунтов. Орудий у Нахимова было 716; значит, при стрельбе с одного борта — 358. У турок было семь фрегатов, три корвета, два парохода, два транспорта и один шлюп — в общем, 472 орудия, то есть с одного борта 236 орудий.

Нахимов, как только подошли подкрепления, решил немедленно войти в Синопскую гавань и напасть на турецкий флот.

Генерал Зайончковский в полном согласии с морскими специалистами так оценивает распоряжения адмирала перед Синопом: «В действиях Нахимова обнаружилось то редкое соединение твердой решимости с благоразумной осторожностью, то равновесие ума и характера, которое составляет исключительную принадлежность великих военачальников». Нахимов, долго крейсируя перед Синопом, каждый день мог погибнуть, потому что неоднократно оказывалось так, что у него судов было гораздо меньше, чем у турок. И тут больше всего сказались его железная выдержка и уверенность в себе и в команде.

В Синопе стояла эскадра Осман-паши, который уже с 10(22) ноября знал, что русская эскадра явно сторожит его у самого выхода из Синопского рейда; он знал, что она усилилась, и уже 12(24) ноября отправил очень тревожное донесение в Константинополь, прося немедленно подкреплений. Решид-паша сейчас же сообщил об этом главному руководителю турецкой политики, британскому послу лорду Стрэтфорду-Рэдклифу. Но это уже было поздно — 17 (29) ноября, то есть за сутки до того, как Нахимов вошел в Синопскую бухту. Даже если бы Константинополь решил оказать помощь, даже если бы Стрэтфорд немедленно приказал английскому адмиралу, стоявшему у Дарданелл, идти в Синоп (чего Стрэтфорд делать не имел права), даже если бы адмирал его послушался, — все равно помощь запоздала бы. Участь турецкого флота решена была в несколько часов.

В сущности, решив напасть на турецкий флот, Нахимов рисковал очень серьезно. Береговые батареи у турок в Синопе были хорошие, орудия

на судах также были в исправности. Но уже давно, еще с конца XVI века, турецкий флот, некогда один из самых грозных и дееспособных в мире, не имел в решающие моменты своего существования сколько-нибудь способных адмиралов. Так оказалось и в фатальный для Турции день Синопа. Осман-паша расположил как бы веером свой флот у самой набережной города: набережная шла вогнутой дугой, и линия флота оказалась вогнутой дугой, закрывавшей собой если не все, то многие береговые батареи. Да и расположение судов было, естественно, таково, что они могли встретить Нахимова только одним бортом: другой был обращен не к морю, а к городу Синопу.

На рассвете 18(30) ноября 1853 года русская эскадра оказалась милях в десяти от Синопского рейда.

В 9 часов утра 18(30) ноября Нахимов на корабле «Мария» и рядом Новосильский на другом 120-пушечном корабле «Париж», а за ними, в двух колоннах, остальные суда пошли к Синопу. В половине первого часа дня раздался первый залп турецких батарей против эскадры Нахимова, входившей на рейд. Корабль Нахимова шел впереди и ближе всех стал к турецкому флоту и береговым батареям. Нахимов стоял на капитанском мостике «Марии» и смотрел в подзорную трубу на развернувшийся сразу артиллерийский бой. Русская победа определилась уже спустя два часа с небольшим. Турецкая артиллерия осыпала снарядами русскую эскадру, успела причинить некоторым кораблям большие повреждения, но не потопила ни одного. А диспозиция Нахимова была исполнена в точности, и его приказы и наставления о том, как держаться в морском бою, принесли громадную пользу. Корабль «Константин» оказался в опасном положении и был окружен неприятельскими судами. Тогда «Чесма» вдруг вовсе перестала отстреливаться от обращенного против нее огня и направила полностью весь огонь своих орудий против особенно яростно громившего «Константина» турецкого фрегата «Навек-Бахри», Фрегат «Навек-Бахри», поражаемый огнем «Константина» и «Чесмы», взлетел на воздух, притом так, что гряда его обломков и тела экипажа упали на береговую батарею, загромождали ее и этим вывели временно из строя.

Подобное же положение, когда тоже помогло внушение Нахимова о взаимной поддержке, повторилось спустя полчаса с кораблем «Три святителя». Корабль был поврежден, он беспомощно стал вращаться, и его отнесло ветром под сильную береговую батарею, которая могла его потопить и произвела на нем сильные разрушения. Но тут «Ростислав», сам находясь под сильнейшим огнем, тоже сразу прекратил свои ответы на обстрел, а весь свой огонь направил на ту самую турецкую батарею № 6,

которая расстреливала «Трех святителей». Не только корабль «Три святителя» был спасен, но вся батарея № 6 была сама снесена русским огнем с лица земли. Правда, это случилось лишь в начале четвертого часа дня и обошлось недешево «Ростиславу»: он получил тяжелые повреждения и чуть сам не взлетел на воздух, так как на нем возник пожар и искры подбирались к кюйт-камере с ее запасами пороха, но удалось потушить огонь. С этой дуэлью между «Ростиславом» и турецкой береговой батареей № 6 связано бегство «Таифа» с места сражения.

Нужно заметить, что присутствие в составе эскадры Осман-паши двух паровых судов очень озабочивало Нахимова, у которого в распоряжении ни одного парохода не было, а были только парусные суда. Нахимов имел все основания опасаться, что быстроходный 20-пушечный пароход «Таиф», удобоподвижный, находящийся притом под управлением не турка, а прекрасного моряка-англичанина, может очень и очень себя проявить в битве, где большим парусным судам поворачиваться и маневрировать не так-то удобно и легко. Нахимов настолько считался с этим, что посвятил пароходам Осман-паши особый (9-й) пункт своей диспозиции, отданной в его приказе накануне боя вечером 17 ноября: «Фрегатам «Кагул» и «Кулевчи» во время действия остаться под парусами для наблюдения за неприятельскими пароходами, которые, без сомнения, вступят под пары и будут вредить нашим судам по выбору своему».

Но это совершенно логичное и, казалось бы, безусловно правильное предположение Нахимова не оправдалось нисколько. Случилось нечто совсем неожиданное. Адольфус Слэд, командир «Таифа», мог сколько угодно переименовываться в Мушавер-пашу, но он, как был до своего превращения в поклонника пророка истым braveм англичанином, а вовсе не турком, так англичанином и остался, и служил он в турецком флоте не во славу аллаха и Магомета, а во славу лорда Стрэтфорда-Рэдклифа. Свое пребывание в составе эскадры Осман-паши он понимал по-своему, как всегда, без исключений, понимали это англичане, переходившие на турецкую службу.

Сделал же он следующее. Будучи превосходным, опытным командиром (единственным в этом отношении во всей эскадре Осман-паши), Слэд уже с самого начала битвы увидел, что турецкому флоту грозит поражение, а так как лордом Стрэтфордом ему было поручено наблюдать и доносить, а вовсе не класть свою голову в борьбе за Полумесяц, то, убедившись уже вскоре после начала битвы в неминуемой и сокрушающей победе Нахимова, он, искусно сманеврировав в самом опасном месте боя между «Ростиславом» и береговой батареей № 6, вышел из рейда и

помчался на запад, в Константинополь, забыв, очевидно, за множеством дел уведомить об этом своем внезапном бегстве своего прямого начальника Осман-пашу, которого покинул, таким образом, в самый трудный момент. За ним вдогонку полетели на всех парусах фрегаты «Кагул» и «Кулевчи», которые, как сказано, именно и были предназначены Нахимовым по диспозиции для наблюдения за «Таифом». Но им было не угнаться за быстрым пароходом, да еще превосходно управляемым.

Слэд несколько раз менял курс, круто изменял направление, зная, как трудно большим парусникам следовать за всеми его зигзагами. В конце концов «Таиф» их оставил далеко позади и пропал на горизонте. Но именно тут он чуть не погиб: его чуть-чуть не потопила эскадра Корнилова, как раз спешившая из Севастополя на помощь Нахимову. Корнилов открыл огонь по «Таифу». Командир Слэд стал отстреливаться и сильно повредил напавший на него пароход «Одессу». Выведя на момент «Одессу» из боя, Слэд помчался на всех парах дальше, держа румб на Константинополь. Корнилов отрядил за ним два других парохода своей эскадры — «Крым» и «Херсонес», но они после долгой погони должны были отказаться от своей задачи. «Таиф» прибыл в Константинополь.

Эскадра Корнилова, еще подходя только к Синопскому рейду, могла убедиться, что она опоздала. Сражение шло к концу. Можно сказать, что бой, начавшийся в половине первого, привел к полному разгрому турок уже около трех — трех с четвертью часов дня. Стрельба нахимовских комендоров при этом была всегда на редкость метка.

Турецкий флот, застигнутый Нахимовым, погиб полностью — не уцелело ни одного судна, и погиб он почти со всей своей командой. Были взорваны и превратились в кучу окровавленных обломков четыре фрегата, один корвет и один пароход «Эрекли», который тоже мог бы уйти, пользуясь быстроходностью, подобно «Таифу», но на нем командовал турок, и он не последовал примеру Слэда. Были зажжены самими турками пробитые и искалеченные другие три фрегата и один корвет. Остальные суда, помельче, погибли тут же. Турки считали потом, что из состава экипажа погибло около 3 тысяч с лишком. В английских газетах упорно приводилась цифра 4 тысячи.

Перед началом сражения турки были так уверены в победе, что они уже наперед посадили на суда войска, которые должны были взойти на борт русских кораблей по окончании битвы.

Когда опоздавшая эскадра Корнилова входила на Синопский рейд, ликующие крики команд обеих эскадр слились воедино. Некоторые из погибающих турецких судов выбросились на берег, где начались пожары и

взрывы на батареях. Часть города пылала, все власти и сухопутный гарнизон Синопа в панике бежали в горы, подымающиеся в окрестностях. Население бросилось в бегство еще в начале боя.

Наступил вечер, и вот какая картина предстала перед глазами экипажа корниловской эскадры, когда она вошла в Синопскую бухту: «Большая часть города горела, древние зубчатые стены с башнями эпохи средних веков выделялись резко на фоне моря пламени. Большинство турецких фрегатов еще горело, и когда пламя доходило до заряженных орудий, происходили сами собой выстрелы, и ядра перелетали над нами, что было очень неприятно. Мы видели, как фрегаты один за другим взлетели на воздух. Ужасно было видеть, как находившиеся на них люди бегали, металась на горевших палубах, не решаясь, вероятно, кинуться в воду. Некоторые, было видно, сидели неподвижно и ожидали смерти с покорностью фатализма. Мы замечали стаи морских птиц и голубей, выделяющихся на багровом фоне озаренных пожаром облаков. Весь рейд и наши корабли до того ярко были освещены пожаром, что наши матросы работали над починкой судов, не нуждаясь в фонарях. В то же время весь небосклон на восток от Синопа казался совсем черным...»

Корнилов увидел, что нахимовские суда, многие с перебитыми и поваленными мачтами, продолжали перестрелку, добивая те немногие суда турок, которые еще не затонули и не взорвались. Один из современников так описывает встречу двух адмиралов: «Мы проходим совсем близко вдоль линии наших кораблей, и Корнилов поздравляет командиров и команды, которые отвечают восторженными криками «ура», офицеры машут фуражками. Подойдя к кораблю «Мария» (флагманскому Нахимова), мы садимся на катер нашего парохода и отправляемся на корабль, чтобы его поздравить. Корабль весь пробит ядрами, ванты почти все перебиты, и при довольно сильной зыби мачты так раскачивались, что угрожали падением. Мы поднимаемся на корабль, и оба адмирала кидаются в объятия друг друга. Мы все тоже поздравляем Нахимова. Он был великолепен: фуражка на затылке, лицо обагрено кровью, а матросы и офицеры, большинство которых мои знакомые, все черны от порохового дыма. Оказалось, что на «Марии» было больше всего убитых и раненых, так как Нахимов шел головным в эскадре и стал с самого начала боя ближе всех к турецким стреляющим бортам». Пальто Нахимова, которое он перед боем снял и повесил тут же на гвоздь, было изорвано турецким ядром. Среди пленных находился и сам флагман турецкой эскадры Осман-паша, у которого была перебита нога. Рана была очень тяжелая. В личной храбрости у старого турецкого адмирала недостатка не было, так же как и у

его подчиненных. Но одного этого качества оказалось мало, чтобы устоять от нахимовского нападения.

23 ноября, после бурного перехода через Черное море, эскадра Нахимова бросила якорь в Севастополе.

Все население города, уже узнавшее о блестящей победе, встретило победоносного адмирала. Нескончаемые «Ура, Нахимов!» неслись также со всех судов, стоявших на якоре в Севастопольской бухте. В Москву, в Петербург, на Кавказ к Воронцову, на Дунай к Горчакову полетели ликующие известия о сокрушительной русской морской победе. «Вы не можете себе представить счастье, которое все испытывали в Петербурге по получении известия о блестящем Синопском деле. Это поистине замечательный подвиг» — так поздравлял Василий Долгоруков, военный министр, князя Меншикова, главнокомандующего флотом в Севастополе. Николай дал Нахимову Георгия 2-й степени — редчайшую военную награду — и щедро наградил всю эскадру. Слава победителя гремела повсюду.

Озабочен по поводу Синопа и сосредоточен был с самого начала лишь один человек во всей России — Павел Степанович Нахимов.

Конечно, чисто военными результатами Синопского боя Нахимов, боевой командир, победоносный флотоводец, был доволен. Колоссальный, решающий успех был достигнут с очень малыми жертвами: русские потеряли в бою 38 человек убитыми и 240 человек ранеными, и при всех повреждениях, испытанных русской эскадрой в бою, ни один корабль не вышел из строя, и все они благополучно после тяжелого перехода через бурное Черное море вернулись в Севастополь. Мог он быть доволен и своими матросами: они держали себя в бою превосходно, без тени боязни, быстро, ловко, дружно выполняя все боевые приказы. Прекрасно действовали и его артиллеристы-комендоры. Наконец, мог Нахимов быть доволен и собой, а он ведь учил, что начальник обязан строже всего и в мирное время, но особенно в бою, относиться именно к себе, потому что на него все смотрят и по нему все равняются. На него смотрели и матросы и любовались им в Синопский день. «А, Нахимов! Вот смелый! Ходит себе по юту, да как свистнет ядро — только рукой, значит, поворотит: туда тебе и дорога!» — рассказывал, лежа в госпитале в Севастополе, изувеченный взрывом участник боя матрос Антон Майстренко.

Итак, собой и своим экипажем Нахимов мог быть вполне удовлетворен. «Битва славная, выше Чесмы и Наварина! Ура, Нахимов! Михаил Петрович Лазарев радуется своему ученику!» — так писал о Синопе другой ученик Лазарева — адмирал Корнилов. Сам Нахимов тоже

помянул покойного своего учителя и в свойственном себе духе: «Михаил Петрович Лазарев, вот кто сделал все-с!» Это полное отрицание собственной руководящей центральной роли было совершенно в духе Нахимова, лишенного от природы и тени какого-либо тщеславия или даже вполне законного честолюбия.

Но в данном случае было и еще кое-что. У нас есть ряд свидетельских показаний, исходящих от современников (Богдановича, Ухтомского, адмирала Шестакова и др.) и совершенно одинаково говорящих об одном и том же факте — о настроении Нахимова вскоре после Синопа: «О возбужденном им восторге он говорил неохотно и даже сердился, когда при нем заговаривали об этом предмете, получаемые же письма от современников он уклонялся показывать. Сам доблестный адмирал не разделял общего восторга». Он не любил вспоминать о Синопе, утверждают другие. Он говорил, что считает себя причиной, давшей англичанам и французам предлог войти в Черное море, говорят третьи. «Павел Степанович не любил рассказывать о Синопском сражении, во-первых, по врожденной скромности и, во-вторых, потому, что он полагал, что эта морская победа заставит англичан употребить все усилия, чтобы уничтожить боевой Черноморский флот, что он невольно сделался причиной, которая ускорила нападение союзников на Севастополь».

Случилось именно то, чего он опасался.

III

От синопского разгрома спасся бегством, таким образом, единственный турецкий пароход «Таиф», на котором командовал английский моряк сэр Адольфус Слэд, называвшийся, как сказано, по турецкой службе адмиралом Мушавер-пашой. Уйдя от русской погони, Мушавер-паша примчался в Константинополь 2 декабря и тотчас сообщил о катастрофе.

Турецкое правительство растерялось до такой степени, что чуть ли не в один и тот же день главному начальнику всех турецких морских сил (Капудан-паше) было объявлено, чтобы он не смел показываться на глаза разгневанному на него падишаху, а затем ему же был дан великим визирем и Решид-Мустафой-пашой любопытный по своей полной нелепости приказ: немедленно выйти в Черное море с четырьмя оставшимися в Босфоре фрегатами. Зачем выйти? Кого и зачем искать? Неизвестно. Но турецкие дела в то время не зависели ни от Решида, ни даже от самого падишаха, «повелителя правоверных», а только и исключительно от лорда Стрэтфорда-Рэдклифа. Английский посол сейчас же, конечно, отменил затевавшуюся бессмысленную авантюру с четырьмя турецкими фрегатами.

4 декабря, то есть через четыре дня после Синопа, вот что он писал в Лондон: «К прискорбию, очевидно, что мир в Европе подвергается самой непосредственной опасности, и я не вижу, как мы можем с честью и с благоразумием, понимаемым в более широком и истинном смысле, воздержаться далее от входа в Черное море со значительными силами, каков бы при этом ни был риск». Стрэтфорд, делавший в Константинополе все от него зависящее, чтобы довести дело до войны, тут же, в официальной бумаге, уповая на лжесвидетельство со стороны самого создателя: «Бог знает, что мы довели наше воздержание (forbearance) и любовь к миру до таких размеров, которые породили много затруднений и чреватые опасными случайностями».

Стрэтфорд неспроста вставил эту фразу о воздержании и любви к миру.

Только во вторую неделю декабря по Лондону стала распространяться весть о том, что Нахимов уничтожил 30 ноября турецкий флот.

Русский посол в Лондоне Бруннов спешил донести в Петербург о потрясающем впечатлении, произведенном в Лондоне этой русской блестящей морской победой. Он сразу же правильно уловил основной

мотив возмущения в прессе и в широких слоях общества: «Где была Великобритания, которая недавно утверждала, что ее знамя развевается на морях Леванта затем, чтобы ограждать и оказывать покровительство независимости Турции, ее старинной союзницы? Она оставалась неподвижной. До сих пор она не посмела даже пройти через пролив. Это значит дойти до предела позора. Жребий брошен. Больше отступить уже нельзя, не омрачая чести Англии неизгладимым пятном». Бруннов не скрывает опасения, что под влиянием таких нападков английское правительство может решиться на активное выступление.

Тут не место распространяться об общих причинах, побудивших Англию и Францию взяться за оружие в 1854 году. Здесь достаточно сказать, что 17 декабря английский посол при французском дворе лорд Каули имел разговор с Наполеоном III, после которого немедленно сообщил министру иностранных дел Кларендону: «Французское правительство полагает, что Синопское дело, а не переход (русских войск. — Е. Т.) через Дунай должно бы быть сигналом к действию флотов». Не успел Кларендон опомниться, как лорд Каули известил его, что французский император снова его призвал и прямо заявил, что нужно «вымести с моря прочь русский флаг» и что он, император, будет разочарован, если этот план не будет принят Англией. 3 января 1854 года англофранцузский флот вошел в Черное море.

Позиция русского посла барона Бруннова среди поднявшейся в Англии бури по поводу Синопа была такова: Россия и Турция находятся в состоянии войны, присутствие в Босфоре или даже в Черном море судов какой-либо третьей державы не может заставить русский флот отказаться от преследования турецких кораблей и нападения на эти корабли. Николай написал сверху карандашом «C'est juste» («это справедливо»).

Англия и Франция решили идти в этом вопросе напролом.

Вопрос в прессе ставился так: могут ли Франция и Англия, ограждая свои экономические и политические интересы, позволить, чтобы Россия завоевала Турцию? Нет. Можно ли смотреть на нападение Нахимова в Синопе как на начало крушения Турции? Да, можно и должно. Чем более яростно шла вдохновляемая Пальмерстоном агитация в прессе и парламенте, тем чаще писали о «предательском» (treacherous) нападении Нахимова на турок, о «бойне», учиненной им, и о нарушении международного права русским адмиралом. Эта версия всецело была поддержана и французской прессой, которая в данном случае отразила лишь взгляды владыки Франции, да ничего другого при полнейшей своей скованности и не могла отразить.

Нужно отдать справедливость английской исторической науке — теперь уж она признала, что Нахимов имел полнейшие и международно-правовые и военные основания напасть 18(30) ноября на флот, стоявший в Синопе.

Вот что писал Наполеон III Николаю о победе Нахимова: «До сих пор мы были просто заинтересованными наблюдателями борьбы, когда Синопское дело заставило нас занять более определенную позицию. Франция и Англия не считали нужным послать десантные войска на помощь Турции. Их знамя не было затронуто конфликтами, которые происходили на суше, но на море это было совсем иное. У входа в Босфор находилось три тысячи орудий, присутствие которых достаточно громко говорило Турции, что две первые морские державы не позволят напасть на нее на море. Синопское событие было для нас столь же оскорбительно, как и неожиданно. Ибо неважно, хотели ли турки или не хотели провезти боевые припасы на русскую территорию. В действительности русские суда напали на турецкие суда в турецких водах, когда они спокойно стояли на якоре в турецкой гавани.

Они были уничтожены, несмотря на уверение, что не будет предпринята наступательная война, и несмотря на соседство наших эскадр. Тут же не наша внешняя политика получила удар, но наша военная честь. Пушечные выстрелы при Синопе болезненно отдались в сердце всех тех, кто в Англии и во Франции обладает живым чувством национального достоинства. Раздался общий крик: всюду, куда могут достигнуть наши пушки, наши союзники должны быть уважаемы».

В ответном письме, помеченном 9 февраля 1854 года, Николай I говорит о Синопе: «С того момента, как турецкому флоту предоставили свободу перевозить войска, оружие и боевые припасы на наши берега, можно ли было с основанием надеяться, что мы будем терпеливо ждать результата подобной попытки? Не должно ли было предположить, что мы сделаем все, чтобы ее предупредить? Отсюда последовало Синопское дело: оно было неизбежным последствием положения, занятого обеими державами (Францией и Англией. — *Е. Т.*), и, конечно, это событие не должно было показаться им неожиданным».

Вскоре после этой переписки послы Англии и Франции выехали из Петербурга, русские послы покинули Лондон и Париж, и последовало объявление обеими западными державами войны Российской империи.

Нахимов и с ним весь Черноморский флот следили с напряженным вниманием за первым актом начинающейся трагедии, за Парижем и Лондоном, за вступлением русских войск в Молдавию и Валахию, за

войной на Дунае, за первым торжеством русского наступления и за последующими неудачами на Дунае. Они пока еще были зрителями и с беспокойством думали о сцене, на которой им суждено было выступить в качестве главных действующих лиц.

Много черных дум было некоторыми из них передумано и отчасти высказано и после Синопа, и после прохода союзных эскадр через Босфор в Черное море в январе 1854 года, и после зловещей последней переписки Наполеона III и Николая I в январе — феврале 1854 года, и после бомбардировки Одессы в апреле, и после снятия осады с Силистрии в июне. С каждым днем нарастала грозная туча именно над Севастополем, с каждым месяцем становилось все более ясно, что именно на юге Крыма, а не в каком-либо другом месте произойдет решающая схватка между Россией и враждебной ей коалицией Франции, Англии, Турции.

Утром 1(13) сентября 1854 года телеграф сообщил Меншикову, что огромный флот направляется непосредственно к Севастополю.

Нахимов и Корнилов с вышки Морской библиотеки увидели в отдалении несметную массу судов. Сосчитать их издали в точности было невозможно. В действительности их оказалось, не считая мелких, около 360 вымпелов. Это были как военные суда (парусные и паровые), так и транспорты с армией, артиллерией и обозом. Вся эта огромная масса была окутана туманом и дымом. Она шла к Евпатории. Нахимов и Корнилов долго глядели на эту медленно проходившую, далекую, темнеющую в тумане громаду в подзорные трубы. Им обоим она несла славу и гибель.

IV

Историческая роль матросов и солдат, и многих из рядового офицерства, и тех единичных личностей в командном составе, какими явились Корнилов, Нахимов, Истомин, Тотлебен, Хрулев, А. Хрущов, Васильчиков, может быть определена так. Эти люди были брошены в полном смысле слова на произвол судьбы сначала без верховного руководства вовсе, потом при таком верховном руководстве, которое делало одну за другой ряд грубейших ошибок. Мало того. У них не только не было искусного командования, но не было ни правильного и достаточного снабжения боеприпасами, ни сколько-нибудь честно, нормально и, главное, организовано поставленной доставки пищевых продуктов, ни достаточной обеспеченности лекарствами и медицинской помощью, потому что и Пирогов, и Гюббенет, и самоотверженные сестры милосердия так же точно зависели во многом от тыла, как в своей области Нахимовы, Корниловы и Тотлебены, а тыл одинаково мало был способен помочь севастопольским защитникам и на бастионах и в лазаретах.

Эти люди, поставленные в такое истинно отчаянное положение, создали вместе со своими матросами и солдатами великую севастопольскую эпопею, затмившую все исторические осады; они создали то своего рода историческое чудо, которое даже во враждебной печати стали именовать (уже после окончания войны) «русской Троей», вспоминая эпическую осаду, воспетую гомеровской «Илиадой». Мы тут задаемся целью проследить деятельность лишь одного из этих людей; поэтому будем касаться только тех перипетий кровавой борьбы, в которых он принимал непосредственное участие. Но, даже самым строгим образом ограничивая свою задачу, тот, кто пытается дать сколько-нибудь реальное представление об этих людях, непременно должен напомнить и о совсем других, о деятелях, стоявших на самой вершине военной иерархии. Ограничимся самыми краткими словами хотя бы о двух, от которых непосредственно зависела судьба Севастополя со всеми защитниками — от солдата и матроса до адмиралов включительно — о главнокомандующем Крымской армии и флота князе Меншикове и военном министре князе В. А. Долгорукове, который долгое время был перед тем помощником военного министра А. И. Чернышева.

Меншиков был взыскан всеми милостями, пользовался неизменно благоволением Николая, обладал колоссальным богатством и занимал в

придворной и государственной жизни совсем особое место. Он был очень образованным человеком, и не только по сравнению с придворными и сановниками Николая Павловича, но и безотносительно. Он был умен и злоречив. По своему положению он примерно с сорокалетнего возраста ни в ком не нуждался, кроме, конечно, самого царя. Личной храбростью он, бесспорно, обладал и на войне 1828–1829 годов был тяжело ранен.

В 1829 году Николай буквально ни с того ни с сего сделал его начальником Главного морского штаба, хотя князь Александр Сергеевич никогда нигде не плавал и лишь чисто любительски интересовался морским делом. Из начальника штаба он превратился очень скоро фактически, если не по титулу, в морского министра, одновременно стал еще и финляндским генерал-губернатором, хотя Финляндию знал еще меньше, если это только возможно, чем морское дело. В 1853 году своим вызывающим поведением в качестве чрезвычайного посла в Константинополе он сыграл, не ведая и не желая того, на руку Пальмерстону и Стрэтфорду-Рэдклифу и ускорил взрыв войны с Турцией. А затем и был назначен главнокомандующим Крымской армии и Черноморского флота с оставлением во всех прежних должностях, вплоть до финляндского генерал-губернаторства. Он без колебаний и сомнений проходил свой блестящий жизненный путь, беря все должности, которые ему предлагались, конечно, если эти должности принадлежали к числу наивысших и почетнейших в государстве.

Он был циник и скептик, откровенно презирал своих коллег.

Меншиков остерегался лишь затрагивать царя, но тем более беспощадно издевался над его креатурами, над их холопством, казнокрадством, тщеславием, тупостью, бесчестностью. О министре путей сообщения Клейнмихеле он утверждал, что тот совсем уже сговорился продать свою душу черту, но сделка, к огорчению обеих договаривавшихся сторон, расстроилась, ибо никакой души у Клейнмихеля вообще не оказалось. Киселева, министра государственных имуществ, Меншиков предложил послать на Кавказ, где нужно было разорять враждебные аулы, потому-де, что никто так не умеет дочиста разорять деревни и села, как Киселев, доказавший это по всей России.

Иностранные дипломаты очень прислушивались к этим остротам и выходкам князя. Военный министр Александр Иванович Чернышев, долгие годы вместе со своим помощником, а потом преемником Василием Долгоруковым разрушавший боеспособность русской армии, ненавидел Меншикова за то, что на вопрос княгини Чернышевой: «Не помните ли, как называется город, который взял Александр?» — Меншиков быстро ответил:

«Вавилон!», притворяясь, будто он думает, что его спрашивают не об Александре Чернышеве, но об Александре Македонском, хотя знал отлично, что жена Чернышева желала, чтобы вспомнили о городе Касселе, куда Чернышев вошел в условиях полнейшей безопасности в 1813 году, во время выхода русской армии в Германию. Этого «Вавилона» Чернышев не простил Меншикову до гробовой доски.

Меншикову справедливо казались смешными претензии Чернышева на полководческие лавры, но ему несколько не показалось смешным, что сам-то он внезапно попал, не имея на это ни малейших прав по своим данным, в верховные вожди русских сухопутных и морских сил, да еще в один из самых грозных моментов в истории русского народа и именно в наиболее угрожаемом пункте империи. Впрочем, это и в самом деле было вовсе не смешно: это было трагично.

Еще до нападения союзников на Севастополь в Петербурге ни для кого, кроме царя, не было тайной, что такое Меншиков как морской министр.

Из документов ясно, как безучастен был Меншиков в октябре — ноябре 1853 года, когда Нахимов следил на море за турецким флотом. Теперь, в конце лета 1854 года, гроза уже шла прямо на Севастополь. Как же Меншиков готовился встретить ее?

Уже с того дня, как союзный флот вошел 3 января 1854 года в Черное море, Одесса, Севастополь, Николаев и все форты восточного берега Черного моря оказались под угрозой не только прямого нападения, но и немедленной гибели, потому что решительно ничего не было готово к обороне. Бомбардировка Одессы в апреле 1854 года тоже ничуть не заставила взяться за дело.

Если севастопольская драма началась не в марте, а только в сентябре 1854 года, то это произошло прежде всего потому, что союзников задерживали опасения за турецкую армию на Дунае. Но вот 1(13) июня под давлением нарастающей угрозы со стороны Австрии Николай дал свое принципиальное согласие на снятие осады с Силистрии, и Паскевич, получив письмо императора, мгновенно этим согласием воспользовался. Русская армия ушла за Дунай.

С этого момента руки у французов и англичан были развязаны. Уже можно было думать не о защите Турции от России, но о прямом нападении на русскую территорию.

Любопытно отметить, что еще в середине лета главнокомандующий Меншиков временами видел грозящую опасность. Меншиков доносил Николаю 29 июня (11 июля) 1854 года, что среди опасностей, угрожающих

Крым, он считает также и «покушение на Севастополь», и уничтожение Черноморского флота. Он предполагал, что неприятель может высадить до 60 тысяч человек, не считая турецких войск. А для обороны у Меншикова было 22 700 человек пехоты, 1128 человек кавалерии и 36 легких орудий, да еще он мог бы собрать с кордонов 500 или 600 казаков. Вывод князя был очень пессимистичен: «Против внезапного нападения Севастополь, конечно, обеспечен достаточно временными своими укреплениями. Но противу правильной осады многочисленного врага и противу бомбардирования с берега средства нашей защиты далеко не соразмерны будут с средствами осаждающего... Мы положим животы свои в отчаянной борьбе на защиту святой Руси и правого ее дела».

Но, к сожалению, роковой легкомысленный оптимизм вдруг овладел Меншиковым как раз перед катастрофой. В одной из рукописей симферопольского исторического архива рассказывается о таком случае: когда Корнилов хотел показать Меншикову список офицеров и жителей Севастополя, давших добровольные пожертвования из личных средств на предстоящую оборону города, то Меншиков, отрицавший возможность высадки и осады, ответил: «Я не желаю видеть списка трусов...»

Но не только Меншиков проявлял в эти наступающие катастрофические дни полную беспечность. О Крыме и Севастополе как-то забыли и в Петербурге. «Наступило как будто затишье. Почему-то успокоились и у нас в Петергофе, и в самом Севастополе, несмотря на то, что из-за границы продолжали приходиться сведения о приготовлениях союзников к большой морской экспедиции, о многочисленных судах, собранных у Варны и Балчика», — читаем в воспоминаниях Д. А. Милютина.

Один из знакомых князя Меншикова, местный булганакский помещик, явился незадолго до начала осады Севастополя к князю с вопросом: не лучше ли будет заблаговременно с семьей уехать? И получил в ответ, что «предпринять нашим неприятелям высадку менее сорока тысяч человек невозможно, а сорока тысяч им поднять не на чем».

Совершенно согласуется с этими показаниями и история первого появления в Севастополе Эдуарда Ивановича Тотлебена.

Горчаков, командовавший в 1854 году русской армией на Дунае, впоследствии столь же роковой человек для Севастополя, как и Меншиков, неожиданно оказал колоссальную услугу обороне этой крепости в самом начале этой эпопеи: он прислал Тотлебена.

Тотлебен никогда не мог забыть той встречи, которая постигла его у Меншикова. Приведем лишь одно (из многих) документальное показание:

«10(22) августа вечером я встречал на Графской пристани только что приехавшего из Дунайской армии давно знакомого мне саперного подполковника Тотлебена. Поздоровавшись с ним, я спрашиваю его, по какому случаю он пожаловал к нам в Севастополь. Тотлебен ответил мне, что приехал по поручению от князя Горчакова и что, может быть, он останется у нас в Севастополе. Поговоривши еще кое о чем, Тотлебен отправился к князю Меншикову. Через четверть часа Тотлебен возвратился на пристань. Смотрю: он что-то невесел. Тотлебен, подойдя ко мне, передал следующее: «Когда я представился князю Меншикову, он спросил меня, с какими вестями я приехал в Севастополь. Я подал ему письмо от князя Горчакова... Князь (Меншиков. — *Е. Т.*) прочитал письмо и сказал: «Князь (Горчаков. — *Е. Т.*) по рассеянности своей, верно, забыл, что у меня находится саперный батальон». Потом, обратившись ко мне, добавил: «Отдохнувши после дороги, вы можете отправиться обратно к своему князю на Дунай».

Таков был служебный дебют Тотлебена в городе, который именно ему суждено было спасти от скорой капитуляции. Несмотря на этот прием, Тотлебену удалось все-таки остаться в Севастополе. При первом же осмотре он убедился, что с северной (сухопутной) стороны укрепления города находятся в самом безобразном состоянии.

В самые последние дни августа (ст. ст.) один из приближенных князя Меншикова, «заливаясь смехом», вышучивал забавное известие, полученное Меншиковым из Дунайской армии, будто бы союзники сажают свои войска на суда и предполагают плыть к берегам Крыма.

Веселое расположение духа овладело не только Меншиковым и его приближенными, но почти всеми штабными. «Если бы не надоедавший всем своими опасениями подполковник Тотлебен, то о войне и вовсе бы позабыли».

Продолжительное бездействие союзников объяснилось впоследствии бедственным положением войск под Варной от свирепствовавшей эпидемии, пожаром, истребившим значительную часть складов, а также и разными встреченными затруднениями для устройства громадной материальной части предположенной морской экспедиции. Но князь Меншиков смотрел иначе на бездействие союзников. Он был убежден, что они не решатся предпринять что-либо серьезное в позднее время года, и в таком смысле писал военному министру. Только подобным самообольщением можно объяснить то равнодушие, с которым князь Александр Сергеевич относился в это время к мерам обороны Севастополя. В Петербурге недоумевали, почему Меншиков даже не потрудился

устроить правильно организованный штаб, чем объяснялись полный хаос в делопроизводстве и постоянный беспорядок в управлении армией, вверенной ему. Недоумевали, но не гнали его вон из армии, которую он губил, а только писали ему из Петергофа ласковые, ободряющие записочки.

Десант неприятельской армии совершился вполне для нее беспрепятственно, а 7(20) сентября произошла битва на реке Альме. Сражение было нами проиграно, несмотря на храбрость и стойкость войск. Потеряв совсем без всякой пользы 5700 человек, Меншиков увел войско к реке Каче, открыв неприятелю беззащитный Севастополь.

Нахимов был в Севастополе и не участвовал в битве. Он мог только частично облегчить положение некоторым жертвам боя, страдавшим от полного отсутствия медицинской и какой бы то ни было иной помощи.

После битвы при Альме раненые оказались в отчаянном положении. Более двух тысяч из них валялись на полу, на земле, без всякой медицинской помощи и даже без тюфяков. Барятинский рассказал об этом Нахимову: «Нахимов, вдруг как бы вспомнив о чем-то, с радостью бросился на меня и сказал: «Поезжайте сейчас в казармы 41-го экипажа (которым он долго командовал) — скажите, что я приказал выдать сейчас же все тюфяки, имеющиеся там налицо и которые я велел когда-то сшить для своих матросов; их должно быть восемьсот или более, тащите их в казармы армейским раненым».

Нахимов, Корнилов, Тотлебен, узнав о печальных результатах битвы при Альме и о последовавшем за нею движении главнокомандующего Меншикова прочь от Севастополя, ждали немедленного нападения союзников на беззащитный с северной своей стороны город. Была там выстроенная в свое время «тоненькая стенка в три обтесанных кирпичика», как ее ядовито называли моряки, прибавляя, что если эта стенка была тоненькая, то уж зато стены в собственных домах инженеров, выстроенные на экономию от этой «стенки», были очень толстые.

Укрепления Северной стороны были расположены так неумело и нелепо, что окрестные возвышенности господствовали над некоторыми из них, сводя тем самым их значение к нулю. Всего орудий, предназначенных защищать Северную сторону, было 198, причем сколько-нибудь крупных было очень мало. Вообще распределение артиллерийских средств в Севастополе было сделано нецелесообразно: достаточно сказать, что на Малаховом кургане, центре позиции, ключе к Севастополю, в тот момент, когда Корнилов, Нахимов, Истомин и Тотлебен взяли в свои руки дело спасения города, находилось всего пять орудий: все пять — среднего калибра (18-фунтовые).

Только совсем неожиданная, грубейшая, чреватая неисчислимыми последствиями ошибка союзного командования предупредила неминуемую катастрофу.

Утром в понедельник 10(22) сентября, спустя два дня после Альмы, когда во французской и английской армиях многие были убеждены в неминуемости немедленного победоносного нападения на Северную сторону, сэр Джон Бэргойн, английский генерал, явился к главнокомандующему английской армии лорду Раглану и подал совет воздержаться от нападения на Северную сторону, а двинуться к Южной стороне. Раглан сам не решил ничего, а послал Бэргойна к французскому главнокомандующему, маршалу Сент-Арно, в руки которого таким образом и перешла в этот момент судьба Севастополя.

Многие французские генералы советовали немедленно напасть на Северную сторону. Но тяжело больной, распростертый на кушетке Сент-Арно (ему оставалось жить еще ровно семь дней), выслушав сэра Джона Бэргойна, сказал: «Сэр Джон прав: обойдя Севастополь и напав на него с юга, мы будем иметь все наши средства в нашем распоряжении при посредстве гаваней, которые находятся в этой части Крыма и которых у нас нет с этой (Северной) стороны».

Жребий был брошен. Английские, французские, турецкие батальоны, эскадроны, батареи потянулись бесконечной лентой от лежавшей перед ними совсем беззащитной Северной стороны к югу.

Сами защитники Севастополя не переставали дивиться этой грубой ошибке французского и английского верховного командования и благодарить судьбу за эту совершенно нежданную, нежданную милость. «Знаете? Первая просьба моя к государю по окончании войны — это отпуск за границу: так вот-с, поеду и назову публично ослами и Раглана и Канробера», — так сказал Нахимов, вспоминая в разговоре с генералом Красовским уже спустя несколько месяцев об этих грозных днях, наступивших сейчас же после отступления русских войск от альминских позиций.

Штурма и взятия Севастополя сейчас же после Альмы ожидали буквально с часу на час.

Главнокомандующий распорядился оставить в Севастополе совсем слабый гарнизон (8 резервных батальонов и небольшое количество матросов), а сам со всей своей армией вышел из города, где пробыл три дня — с 9(21) до 12(24) сентября, и 13(25) пошел к Бельбеку. Адмирал Нахимов не одобрял этого движения и назвал его «игрой в жмурки».

Итак, отброшенная от Альмы, русская армия отступала к Бельбеку.

Князь Меншиков немедленно приказал Корнилову командовать на Северной части города, а Нахимову — на Южной. Положение казалось совсем отчаянным. Севастополь мог быть взят в ближайшие дни. Нахимов заявил главнокомандующему, что он без колебаний умрет, защищая Севастополь, но вовсе не считает себя, адмирала, способным к самостоятельному командованию на сухом пути и с готовностью подчинится кому-либо более подходящему, кого Меншиков назначит командовать на Южной стороне города. Но Меншиков подтвердил свое решение и приказал Нахимову принять назначение.

Нахимов повиновался.

Но как только союзная армия неожиданно для русского командования отошла от Северной стороны и обложила Южную, Нахимов упросил Корнилова взять на себя командование, а сам сделался его помощником.

Собственно, когда отступавшая русская армия была уведена Меншиковым в долину Бельбека, то Севастополь был брошен буквально на произвол судьбы. Когда Меншиков, как сказано, перед своим отъездом из Севастополя призвал Корнилова и объявил, что назначает его командиром войск Северной стороны Севастополя, а Нахимова — командиром Южной, то Корнилов ответил, что если армия уводится прочь, то ведь не может Севастополь держаться горстью моряков. Но Меншиков был непреклонен.

Спасли Севастополь в этот момент от непосредственной гибели, во-первых, грубые ошибки союзного верховного командования, не решившегося на немедленную атаку, а во-вторых, три человека: Корнилов, Тотлебен, Нахимов. Тут не место подробно говорить ни об этих ошибках неприятельских вождей — Сент-Арно, Канробера и лорда Раглана, ни о великом подвиге Тотлебена, которым так восхищался, как гениальным инженером, даже неприятель, ни о стойкости, уже нечеловеческой энергии и доблести Корнилова — мы тут ставим себе задачей проследить лишь индивидуальную роль Нахимова.

Меншиков, уходя и уводя прочь армию, сделал, в сущности, еще одно дело, которое могло бы подкосить оборону в корень, если бы Корнилов и Нахимов не были Корниловым и Нахимовым, а были бы средними адмиралами или генералами, которые завели бы ссоры и пререкания: ведь оба они были оставлены с равными правами, и старшими над ними Меншиков не назначил, в сущности, никого. Старшим по чину, правда, был Моллер, командующий войсками в Севастополе, но мы увидим сейчас, как Нахимов с ним распорядился.

Тут дело решилось быстро: как только обнаружилось, что неприятель двинулся вовсе не на Северную сторону, а на Южную, Нахимов заявил, что

он хоть и старше годами и службой, но подчинится Корнилову. Это сохранило полное единство командования в брошенном на произвол судьбы в самый опасный момент городе. Нужно тут же сказать, что в эти первые дни — от Альмы до 14 сентября, когда он приказал потопить часть русского флота, то есть то, что было ему дороже жизни, Нахимов был в самом мрачном состоянии духа. Это говорят нам все источники. Он глядел вечерами из окон дома, где жил Корнилов, на Мекензиеву гору и видел то бесчисленные огни английских и французских биваков, то медленное движение вражеских масс, все идущих и идущих с Мекензиевой горы в долину Черной речки.

Нахимов уже тогда не верил в возможность спасти Севастополь. Он и позже в это не верил, хотя и пытался скрыть это чувство, чтобы не обескуражить бойцов. Еще пока рядом был его друг Корнилов, которого он открыто ставил выше себя, Нахимов редко-редко и притом в совсем малой и близкой компании позволял проявляться овладевавшему им порой в эти сентябрьские дни чувству, близкому к отчаянию. Но когда Корнилова не стало, никому уже не пришлось наблюдать Нахимова в таком ужасном состоянии. Он знал, что после кровавого дня, 5 октября, у матросов и солдат, защищающих Севастополь, не осталось никого, кроме него и Тотлебена, — может быть, еще впоследствии Истомина, С. Хрулева, А. Хруцова, Васильчикова, — кому они, матросы и солдаты, сколько-нибудь верили бы среди высшего командного состава, потому что многочисленные герои из рядовых, герои из низших офицеров были известны лишь своим ротам, своим бастионам, своим ложементам, и не в их руках власть над всей обороной, не в их руках жизнь и смерть тысяч, не в их руках участь осажденного города. Доверие именно к начальству — это такая моральная сила, которую ничто решительно на войне заменить не может.

После гибели Корнилова Тотлебен дал окончательно обороне Севастополя материальную оболочку, а Нахимов вдохнул в нее душу — так говорили потом уцелевшие севастопольцы. Тот, кто стал на место павшего Корнилова и должен был его заменить, уже не считал себя вправе поддаваться даже минутной слабости. В эти двадцать семь дней Корнилов и его три товарища показали, как возможно выйти из невозможного положения, а, начиная с 5 октября, Нахимов сделал для всех ясным, что Корнилов оставил по себе наследника.

Работа Корнилова, Тотлебена, Нахимова, Истомина, начиная от ухода Меншикова с армией, была самая кипучая. Неизвестно было, когда спали, когда ели эти люди, Тотлебен возводил свои гениальные сооружения, Корнилов вооружал бастионы, Нахимов ставил моряков на сухопутную

службу. Нужно было затопить части флота, чтобы он не достался неприятелю и чтобы загромоздить прибрежное дно бухты.

Корнилов, Нахимов, Тотлебен, Истомин просто перестали в эти дни считаться с ушедшим и уведшим свою армию главнокомандующим. По желанию Нахимова они решили высшую власть по обороне города в эти дни вручить Корнилову.

Положение становилось отчаянным, и Меншиков решительно не знал, как избежать близкой и, казалось, неминуемой катастрофы. «Что делать с флотом?» — спросил Корнилов. «Положите его себе в карман», — отвечал Меншиков. Корнилов настойчиво требовал приказаний насчет флота, и приказание было Меншиковым отдано: «Вход в бухту загородить, корабли просверлить и изготовить их к затоплению, морские орудия снять, а моряков определить на защиту Севастополя».

Что было делать? На совете, который 9 сентября, на другой день после Альмы, Корнилов собрал в Севастополе, он предложил флоту выйти в море и атаковать неприятельские суда. Гибель была почти неизбежна, но, погибая, русский флот все же нанес бы серьезный вред неприятелю «и уж, во всяком случае, избег бы постыдного плена». Он указал при этом на большой видимый беспорядок в диспозиции неприятельских судов.

Этот отважный план одними присутствующими был одобрен, другими не одобрен.

Тотчас после заседания Корнилов поехал к Меншикову и заявил, что выйдет в море и нападет на неприятеля. Меншиков категорически отказал, раздражился, видя, что Корнилов стоит на своем, и снова приказал затопить суда.

С рассвета 11 сентября началось потопление судов. Было затоплено пять кораблей.

14 сентября Нахимов подписал свой знаменитый приказ: «Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона: я в необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на них команды с абордажным оружием присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет драться как герой; нас соберется до трех тысяч; сборный пункт на Театральной площади».

Потопление оставшихся судов было приостановлено, как только появилась слабая надежда на то, что неприятель по какой-то непонятной причине отказывается от мысли немедленно штурмовать Севастополь.

Когда капитан Лебедев, посланный Меншиковым с Мекензиевой горы в Севастополь, прибыл туда 13(25) сентября, то Корнилов допустил его в

заседавший как раз военный совет.

Корнилов так сформулировал вопрос, который он предложил совету: «Что предпринять по случаю брошенного на произвол судьбы князем Меншиковым Севастополя?» Можно легко поверить, что Корнилов в самом деле «умышленно невнимательно» обращался при этом с посланцем Меншикова. Нахимов был мягче и расспрашивал Лебедева об армии, уведенной Меншиковым. Но кончил вполне в нахимовском стиле. Лебедев по окончании вопросов спросил Нахимова, в свою очередь, что же ему доложить светлейшему о действиях в Севастополе. «А вот скажите, что мы собрали совет и что здесь присутствует наш военный начальник, старейший из нас всех в чине, генерал-лейтенант Моллер, которого я охотно променял бы вот на этого мичмана». И Нахимов указал на входившего Костырева. Генерал Моллер, услышав, что речь идет о нем, приподнявшись, обратился к Павлу Степановичу, но, узнав о предмете разговора, опять сел. И не только «опять сел», но заявил, что добровольно подчинится младшему в чине Корнилову. Да и как после подобных комплиментов Нахимова мог бы он поступить иначе?

Корнилов не только убежден был, подобно Тотлебену — да и подобно подавляющему большинству русских командиров, — что союзники могли легко овладеть Севастополем сейчас, после сражения при Альме, но он вплоть до 18(30) сентября считал немедленную гибель города очень вероятной, поскольку Меншиков не прислал подкреплений.

Тотлебен смотрел в эти дни на положение вещей так же мрачно, как Корнилов и Нахимов: «Наше положение в Севастополе было критическое: ежеминутно готовились мы встретить штурм вдесятеро сильнейшего неприятеля и, по крайней мере, умереть с честью, как храбрые воины... Севастополь... с сухопутной стороны не был почти совсем укреплен, так что был совершенно открыт для превосходных сил неприятельской армии. Начертание укреплений и расположение войск поручено мне адмиралом Корниловым. Нам помогает также храбрый адмирал Нахимов, и все идет хорошо... Случались дни, когда мы теряли всякую надежду спасти Севастополь; я обрекал себя уже смерти, сердце у меня разрывалось...»

Но именно с 18 сентября, когда он писал это письмо, положение уже кажется ему лучше, чем было до сих пор: появилась первая надежда, что Меншиков усилит севастопольский гарнизон и пришлет подмогу.

18 сентября Меншиков наконец, приблизив свою армию к Севастополю, побывал в городе, виделся с Корниловым и предупреждал его, чтобы впредь он не беспокоился, если действующему отряду потребуется сделать еще какую-нибудь диверсию затем, чтобы отвлечь

внимание неприятеля от Севастополя. Но Корнилов плохо верил в стратегию главнокомандующего и упорствовал на необходимости усилить гарнизон, и князь, «снисходя на односторонний взгляд еще неопытного в военном деле адмирала, уважая лихорадочную его заботливость о сосредоточении себе под руку всех средств к обороне Севастополя, главное же — сознавая, как важно ободрить столь незаменимого своего сподвижника», согласился. Другими словами, Меншиков в это время не очень уверенно себя чувствовал и не решился спорить с Корниловым.

Тотчас же из команд, снятых с кораблей, стали формироваться батальоны под начальством корабельных командиров для действия на берегу.

Нахимов все эти дни — 12, 13, 14 сентября и дальше — непрерывно перевозил орудия с кораблей на береговые бастионы, формировал и осматривал команды, следил за вооружением батарей Северной стороны.

2 октября Нахимов вывел оставшийся пока русский флот из Южной бухты и расставил суда так умело и счастливо, что до последнего дня своего существования они могли оказывать максимальную возможную помощь обороне Севастополя.

Начиная с 20 сентября артиллерийская перестрелка между Севастополем и неприятелем стала несколько усиливаться. Приготовления с обеих сторон принимали все больший размах. Близилось страшное 5 октября.

Все усиливалась и грандиозно развивалась в самых разнообразных направлениях неутомимая деятельность Нахимова по обороне. Они с Корниловым соперничали, выказывая неслыханную отвагу (этим в Севастополе было трудно удивить, но они оба все-таки удивляли и матросов и солдат), а также проявляли быструю находчивость и распорядительность. Тотлебен уже начал свое дело, и Корнилов и Нахимов мечтали лишь об одном: чтобы штурм последовал как можно позже, когда Тотлебен успеет произвести хоть часть своих работ. Штурм не последовало, но 5 октября 1854 года с восходом солнца загремела страшная «первая» бомбардировка с суши, а спустя несколько часов — и с моря, из самых усовершенствованных орудий морской артиллерии того времени. Три адмирала — Нахимов, Корнилов, Истомин — с рассвета руководили ответным огнем русских батарей и объезжали бастионы. На пятом бастионе в этот день Корнилов и Нахимов встретились и долго там пробыли вместе под адским огнем неприятеля.

«На 5-м бастионе мы нашли Павла Степановича Нахимова, который распоряжался на батареях как на корабле; здесь, как и там, он был в

сюртуке с эполетами, отличавшими его от других во время осады... — пишет сопровождавший Корнилова в этот день и час его флаг-офицер Жандр. — Разговаривая с Павлом Степановичем, Корнилов взошел на банкет у исходящего угла бастиона, и оттуда они долго следили за повреждениями, наносимыми врагам нашей артиллерией; ядра свистели около, обдавая нас землей и кровью убитых, бомбы лопались вокруг, поражая прислугу орудий». Затем Корнилов отправился на другие бастионы. Корнилов был смертельно ранен ядром в двенадцатом часу дня на Малаховом кургане. Огонь уже ослабевал, бомбардировка подходила к концу, когда Нахимов узнал роковую весть... Капитан Асланбеков рассказывает, как он вечером, узнав о гибели Корнилова, поехал поклониться его праху и, войдя в зал, увидел Нахимова, который плакал и целовал мертвого товарища.

*

Из четырех человек, организовавших защиту Севастополя, ураганная бомбардировка 5(17) октября 1854 года унесла одного. Замены ему, которая извне вступила бы в эту маленькую группу, не было ни тогда, ни впоследствии. Вообще этой былой четверке суждено было отныне уменьшаться, но не сменяться и не пополняться в личном составе. Осталось трое — Нахимов, Тотлебен, Истомин, и роль фактического начальника, вождя, «хозяина Севастополя» перешла непосредственно к Нахимову. С этого времени он работал и за себя, и за Корнилова.

Но роль Нахимова и этой маленькой группы его товарищей все-таки не будет ясна, если мы не напомним читателю о том, до какой степени они были лишены поддержки со стороны всего центрального аппарата армии и военного министерства.

Достаточно ознакомиться с хранящимися в Военноученом архиве (в Москве) письмами Меншикова к министру Долгорукову, чтобы вполне удостовериться, что Севастополь был на волосок от сдачи не только сейчас, после Альмы, но и в октябре и ноябре 1854 года.

«Если Севастополь падет, по крайней мере, Крым не может быть у нас отнят», — успокаивает Меншиков Долгорукова 11 октября 1854 года. Но военного министра, впрочем, незачем было успокаивать: он и сам по себе не очень беспокоился. Он все только грустил, что севастопольские артиллеристы, отстреливаясь, тратят много пороха. Он, министр, пороха подослать никак не может и даже не надеется вовремя подослать, но зато уповает на помощь всевышнего бога, о каковом своем уповании уведомляет Меншикова. Преждевременно одряхлевший и опустившийся царедворец, которым являлся в эту пору своей жизни князь Василий Долгоруков, и усталый, себялюбивый, ничем решительно душевно не интересующийся скептик и циник Меншиков, совсем готовый сдать Севастополь и вполне спокойно и равнодушно предвидящий в ближайшем будущем этот случай, — вот каких людей мы видим как бы воочию, читая эту переписку. В «постскриптуме» — очевидно, за более интересным материалом не хватило раньше места в письме или просто вылетело из памяти, так как всех «мелочей» не упомнишь, — Долгоруков пишет Меншикову 23 октября из Петербурга: «Если Севастополь еще не взят, как мы надеемся, не найдете ли вы уместным приступить, как только это станет возможным, к комбинации для усиления его защиты?» Эта нелепая пустопорожняя фраза, вполне достойная таких же ответных пустейших записочек Меншикова, писалась военным министром Российской империи как раз тогда, когда защитники Севастополя уже считали, что самый страшный момент прошел и что можно и должно держаться.

Конечно, при своем уме, тонкости и подозрительности Меншиков знал, что и Корнилов до самой смерти, и Нахимов, и матросы, обороняющие город, относились и относятся к судьбе Севастополя не так, как он и его корреспондент, а совсем по-другому. Поэтому когда из Петербурга подсказывали Меншикову, что ввиду скорой сдачи Севастополя следовало бы приказать уничтожить в городе все, что нельзя вывезти, то Меншиков отказывался это сделать, попросту не решаясь такого рода приказ переслать Нахимову и его матросам.

Меншиков соображал, что одно дело — по-французски переписываться с Долгоруковым о сдаче Севастополя, а другое — отдать на русском языке Нахимову и его матросам, Тотлебену и его саперам и землекопам-рабочим приказ о передаче города французам и англичанам. Он ведь знал, конечно, о тех настроениях, о которых повествовал впоследствии Ухтомский, говоря, что «между моряками прямо обвиняли (начальника штаба) в равнодушии к делу и чуть ли не в измене». И он, ни на что не решаясь, продолжал себе из своего «прекрасного далека», сначала из Бельбека, потом из Северной стороны, которую он из любезности к военному министру Долгорукову, не очень твердому в русском языке, называет «Severnaja», наблюдать за тем, как Нахимов, Тотлебен, Истомин, Хрулев и их матросы и солдаты бьются и погибают на севастопольских редутах.

Меншиков был умнее и если не чище, то безразличнее Долгорукова, но, конечно, и военный министр, и все те, жизнь которых «протекала так приятно» в окрестностях Зимнего дворца до 1853 года, были своими, родными, близкими для Меншикова. А «боцман», «матрос» Нахимов, инженер Тотлебен, хуторские Корнилов или Истомин были ему совершенно чужды и определенно неприятны. Общего языка с ними он не только не нашел, но и не искал. Эти чужие ему люди сливались с той серой массой грязных и голодных матросов и солдат, с которой Меншиков уже окончательно ровно ничего общего не имел и не хотел иметь.

Лично честный человек, Меншиков прекрасно знал, какая вакханалия воровства происходит вокруг войны, знал, что солдаты либо недоедают часто, либо отравляются заведомо негодными припасами. Знал и грабителей, даже изредка называл их по фамилии. Но не все ли равно? Грабителей так много, что не стоит и возиться.

Матросы и солдаты всегда интересовали Меншикова так мало, что он просто по своей инициативе почти никогда и не осведомлялся, что они едят и вообще едят ли они.

Деньги, отпускавшиеся миллионами, разворовывались по дороге, и то, что доходило до рот, получалось с огромным опозданием.

Полнейшая, абсолютная безнаказанность была при князе Меншикове гарантирована всем ворами, взяточникам, казнокрадам.

И матросы и солдаты чувствовали упорное и решительное не только нерасположение, но и прямое недоверие к Меншикову, готовы были поверить любому слуху, чернящему главнокомандующего.

«Матросы называли князя Меншикова «анафемой», а войска называли его князем Изменчиковым».

Моряки не хотели всерьез верить, что князь Меншиков — адмирал над всеми адмиралами; армейские военные не понимали, почему он генерал над всеми генералами; ни те, ни другие не могли главным образом взять в толк, почему он главнокомандующий? И напрасно его хвалили, старались впоследствии приписать его непопулярность чьим-то интригам и уже совсем неосновательно усматривали со стороны Меншикова какие-то «старания» заслужить любовь армии. Ни интриг не было, ни «стараний» не проявлялось.

Нахимов и Корнилов очень хорошо понимали, что по всем своим одиннадцати должностям, по которым Меншиков пользуется доходом и мундиром, он ровно ничего не делает, но что губительнее всего его пребывание именно на посту морского министра и главнокомандующего Черноморского флота.

«Прекрасные, братец, есть ребята между моряками... меня они не любят — что делать: не угодил» — так снисходительно и развязно отзывался этот развлекавшийся то дипломатией, то войной петербургский знатный барин о людях, которым суждено было все же прославить Россию, несмотря на то, что царь наградил их таким верховным командиром. Солдатам он тоже «не угодил».

Совсем не тот дух царил в оставленном армией Севастополе. Вот одно из многочисленных свидетельств очевидцев: «Под вечер я удостоился увидеть еще раз адмирала Корнилова, который принял меня очень любезно, дал мне лошадь и сам провел по главнейшим частям оборонительной линии. Отраднo было видеть тот контраст, какой существовал между настроением защитников Севастополя и унылыми обитателями Бельбекского лагеря. Здесь (в Севастополе) все кипело, все надеялось если не победить, то заслужить в предстоящем решительном бою одобрение и признательность России; там все поникло головой и как бы страшилось приговора отечества и современников».

Меншиков к концу 1854 года совсем махнул рукой на оборону Севастополя. «Севастополь падет в обоих случаях: если неприятель, усилив свои средства, успеет занять бастион № 4 и также если он продлит осаду, заставляя нас издерживать порох. Пороху у нас хватит только на несколько дней, и, если не привезут свежего, придется вывезти гарнизон» — таковы были перспективы Меншикова в начале ноября 1854 года.

О военном министре, князе Василии Долгорукове, с которым он так ласково переписывался, Меншиков выражался в том смысле, что «князь Василий Долгоруков имеет *тройное отношение к пороху: он пороху не нюхал, пороху не выдумал и пороху не посылает в Севастополь*». Но

дальше этой выходки Меншиков не пошел и больше ничего против Долгорукова не предпринял.

К этому прибавилось и отсутствие подвоза продовольствия, то есть полуголодное существование солдат.

Но в Севастополе под ядрами работали с прежним упорством и гнали от себя всякую мысль о сдаче города.

VI

С первого дня бомбардировки Нахимов и Тотлебен ежедневно бывали на четвертом бастионе, но Тотлебен, занятый постройкой и поправкой укреплений, должен был несколько разредить свои посещения, а Нахимов занялся бастионом специально, и занялся вплотную. Положение было такое: французы направили сейчас же, после первой грандиозной общей бомбардировки 5 октября 1854 года, главные свои усилия на этот ближе всех выдвинутый к ним бастион. Послушаем командира этого бастиона, капитана 1-го ранга Реймерса: «От начала бомбардирования и, можно сказать, до конца его четвертый бастион находился более всех под выстрелами неприятеля, и не проходило дня в продолжение всей моей восьмимесячной службы, который бы оставался без пальбы. В большие же праздники французы на свои места сажали турок и этим не давали нам ни минуты покоя. Случались дни и ночи, в которые на наш бастион падало до двух тысяч бомб и действовало несколько сот орудий...»

Уже после первых дней осады и бомбардировки, собственно, бастион был ямой, где защитники без всякого прикрытия, если не считать жалких брустверов, истреблялись систематически огнем французских батарей. Нахимов в полном смысле слова стал создавать бастион — и создал его. «В первые два месяца на четвертом бастионе не было блиндажей для команды и офицеров, все мы помещались в старых казармах; но когда неприятель об этом разведал, то направил на них выстрелы и срыл их. Вообще внутренность бастиона представляла тогда ужасный беспорядок. Снаряды неприятельские в большом количестве валялись по всему бастиону; земля для исправления брустверов для большей поспешности бралась, тут же, около орудий, а потому вся кругом была изрыта и представляла неудобства даже для ходьбы».

Нахимов решил, что без блиндажей бастиону конец. «Адмирал Нахимов, приходя ко мне, каждый раз выговаривал: обратить внимание на приведение бастиона в порядок и устройство блиндажей. Но мне казалась эта работа тогда невозможной, так как под сильным огнем и непрерывным разорением брустверов нам едва хватало времени поспевать к утру с исправлением повреждений брустверов», — продолжает Реймерс. И при этих невероятных условиях блиндажи были созданы, и люди получили хоть какое-нибудь прикрытие.

Бастион был занят в значительной мере матросами, для которых

величайшей наградой были слова, сказанные Нахимовым после постройки блиндажей и приведения бастиона в порядок: «Теперь я вижу, что для черноморца невозможного ничего нет-с».

Нахимов приносил на бастион Георгиевские кресты, которые и раздавал особенно отличившимся за последние несколько суток. «Нахимов, приходя первое время к нам на бастион, подсмеивался над тем, кто при пролете штуцерной пули невольно приседал: что вы мне кланяетесь?» Нахимовские порядки, заведенные им во флоте, были заведены и на бастионах Севастополя, и это не очень нравилось армейскому командному составу: «...армейские офицеры удивлялись тому, что наши матросики, не снимая шапки, так свободно говорят с нами и что вообще у нас слаба дисциплина. Но на самом деле они впоследствии убедились в противном, видя, как моментально, по первому приказанию, те же матросы бросались исполнять самые опасные работы. Солдаты, поступившие к оружием, делались совершенно другими людьми, видя отважные выходы матросов». Таковы точные и правдивые показания командира четвертого бастиона Реймерса, сделанные им перед тем, как осколок бомбы вывел и его из строя.

Отношения, заведенные Нахимовым во флоте, сохранялись всецело на севастопольских бастионах, и если можно назвать бытом ежедневное и еженощное пребывание под французскими и английскими бомбами, ядрами, ракетами и штуцерными пулями, то нахимовский быт оставался прежним. Предоставим слово очевидцу: «Особенной популярностью у севастопольцев пользовалось бессмертное имя Павла Степановича Нахимова, так как у моряков не принято было величать своих начальников и офицеров по чинам. Ни ваше благородие, ни превосходительство вовсе не употреблялось в объяснениях, а звали начальство просто по имени и отчеству...

...Как сейчас вижу этот незабвенный тип: верхом на казацкой лошади, с нагайкой в правой руке, всегда при шпаге и адмиральских эполетах на флотском сюртуке, с шапкой, надетой почти на затылок, следует он, бывало, до бастиона верхом, в сопровождении казака. Панталоны без штрипок вечно собьются у него у коленей, так что из-под них выглядывают голенища и белье, ему и горя мало — на подобные мелочи он не обращал внимания. Остановившись у подошвы нашего бастионного кургана, Павел Степанович по обыкновению слезал с лошади, оправлял панталоны и шествовал по бастиону пешком. «Павел Степаныч! Павел Степаныч!» — зашумят, бывало, радостно матросы, и все флотское как будто охорашивается, желая показаться молодцеватее своему знаменитому

адмиралу, герою Синопа. «Здравия желаем, Павел Степаныч, — отзовется какой-нибудь смельчак из группы матросов, приветствуя своего любимого командира. — «Все ли здоровы?» — «Здоров, Грядка, как видишь», — добродушно ответит Павел Степанович, следуя дальше. «А что, Синоп забыл?» — спрашивает он другого. «Как можно! Помилуйте, Павел Степаныч! Небось и теперь почесывается турок!» — усмехается матрос. «Молодец!» — заметит Нахимов. Либо, потрепав иного молодца по плечу, сам завязывает разговор, расспрашивая о французах».

Героев было много и среди солдат тоже; солдаты тоже умирали бестрепетно и безропотно, не хуже матросов. Но губительная система, заведенная Павлом, продолженная Александром и Аракчеевым, Николаем и Михаилом, Сухозанетом и Клейнмихелем, Чернышевым и Долгоруковым, развращала и ослабляла русскую сухопутную армию.

Вот что писал один из защитников Севастополя, капитан Ухтомский, в своих черновых заметках, конечно, не надеясь, что они когда-нибудь увидят свет: «Солдаты, превращенные в машины, знали только один фронт; князь А. С. Меншиков в своем дневнике незадолго до высадки неприятеля в Крыму писал: «Увы, какие генералы и какие штаб-офицеры! Ни малейшего не заметно понятия о военных действиях и расположении войск на местности, об употреблении стрелков и артиллерии. Не дай бог настоящего дела в поле». Ухтомский отмечает настойчиво все громадное превосходство моряков, воспитанных школой Лазарева, Нахимова, Корнилова, Истомина, над армейскими частями, сражавшимися рядом с матросами на севастопольских бастионах (хоть солдаты и не уступали морякам в личном бесстрашии). Чем выше был чин военного начальника в армейских войсках, тем менее обыкновенно начальник годился для командования в бою. Фронтное учение и шагистика совсем убили самостоятельность в русской армии. На вылазках, где командовали обер-офицеры, можно было всегда рассчитывать на успех, но чуть вылазкой распоряжается штаб-офицер или полковник — верная неудача; такие же были и генералы... Еще к этому надо добавить, что во время командования Меншикова, когда можно было многое наладить по укреплению Севастополя, от военного министра Долгорукова не видно было никакого содействия».

И меньше всего можно было ждать помощи от главнокомандующего армии и флота князя Меншикова.

«Кто были помощниками мне? Назовите мне хоть одного генерала, — жаловался князь Меншиков в доверительной беседе с полковником Меньковым. — Князь Петр Дмитриевич (Горчаков, брат преемника Меншикова, князя М. Д. Горчакова)? Старый скряга в кардинальской

шапке! Или всегда пьяный Кирьяков и двусмысленной преданности к России Жабокритский, или, наконец, бестолковый Моллер?.. Остальные, мало-мальски к чему-либо пригодные, все помешаны на интриге! Полагаю, что, будучи далеко от солдата, я не сумел заставить его полюбить себя; думаю, что и в этом помогли мне мои помощники».

Меншиков жаловался на своих генералов и сваливал вину за многие свои неудачи на их бездарность и невежество. Ни в чем не виновен и вполне безгрешен только он один, сам Александр Сергеевич.

Возмутительнее всего, что он клеветал на своих солдат, обвиняя их иногда в недостатке стойкости.

К русским матросам и солдатам и к тем людям, которые являлись их настоящими вождями в этой кровавой и яростной борьбе, неприятель был гораздо справедливее. Французский главнокомандующий, сам храбрый и стойкий солдат, маршал Канробер до конца жизни в беседах с близкими с восторгом вспоминал о тех, кого так мало ценил русский главнокомандующий Меншиков: «С какими противниками имели мы дело?» Маршал Канробер, рассказывает его друг, даже сорок лет спустя при этом вопросе поднимался в кресле и, глядя на нас своими огненными глазами, восклицал: «Чтобы понять, что такое были наши противники, вспомните о шестнадцати тысячах моряков, которые, плача, уничтожали свои суда с целью загородить проход и которые заперлись в казематах бастионов со своими пушками, под командой своих адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина. К концу осады от них осталось восемьсот человек, а остальные, и все три адмирала, погибли у своих пушек...»

Канробер особенно отмечает также и севастопольских рабочих: «Генерал Тотлебен для выполнения своей технической задачи нашел в населении Севастополя, сплошь состоявшем из рабочих или служащих в морском ведомстве и в арсеналах, абсолютную преданность делу. Женщины и дети, как и мужчины, принялись рыть землю днем и ночью, под огнем неприятеля, никогда не уклоняясь. А наряду с этими рабочими и моряками солдат, особенно пехотинец, снова оказался таким, каким мы его узнали в битвах при Эйлау и под Москвой».

Чтобы найти достойное сравнение, Канробер, знаток военной истории, называет именно эти два кровопролитнейших сражения наполеоновской эпохи, в которых храбрость и стойкость русской пехоты изумили Наполеона I и его маршалов.

Черствый, раздражительный, завистливый и насмешливый Меншиков все-таки должен был в первые месяцы осады считаться с очевидностью: с тем, что после смерти Корнилова Севастополь держится (если не говорить

о главном, то есть об упорстве и героизме, проявляемых подавляющим большинством защитников, матросов, солдат и рабочих) на Нахимове, Тотлебене и Истомине.

Среди бездарных начальников, среди звезд генералитета, прославившихся чем угодно, но только не военными заслугами, эти три человека, дружно и согласованно действовавшие, представляли собой могучую силу. Меншиков отлично знал (при его бесспорном уме и огромной опытности он даже не мог не знать), что талантливый, одаренный самостоятельным мышлением человек может при николаевской системе иной раз выйти в генералы, если ему повезет и если он не попадет на глаза и на замечание у царя или у Василия Долгорукова. Но чтобы человек с такими качествами попал на командующий, в самом деле руководящий пост — это было в обыкновенное время абсолютно невозможно. Кому же и было это понимать, как не князю Меншикову? Мало ли он сам сбыл с рук таких неудобных адмиралов и генералов! Ему ли было не знать этот «вырубленный лес», с которым великий поэт Некрасов сравнил двор и окружение Николая после 14 декабря!

Но вот в стороне от большого света, где-то на задворках империи, на Черном море, Михаил Петрович Лазарев создал какие-то свои, несколько подозрительные традиции, воспитал этих Корниловых, Нахимовых, Истоминных, как-то вовсе не подходящих ни по росту, ни по масти к общеустановленному «нормальному» образцу. И вдруг грянула грозная война, и оказалось, к прискорбию князя Меншикова, что в ненормальные времена общеустановленный нормальный образец никуда не годится. Что же делать? Меншиков скрепя сердце решил использовать этот странный, ни на что не похожий, «ненормальный» выводок лазаревских адмиралов, которые, как выразился товарищ Пирогова, профессор хирургии, севастополец Гюббенет, говоря о Нахимове, «не считали достойным хвалить все существующее и скрывать недостатки, а находили пользу в изобличении и в неусыпном стремлении к улучшениям».

И Меншиков уже в декабре 1854 года представил царю доклад о необходимости наградить Нахимова, о котором злобно говорил в своей компании, что ему бы канаты смолить, а не адмиралом быть. Молодой великий князь Константин Николаевич, находившийся тогда в самой весне своего «либерализма», не только исходатайствовал Нахимову орден Белого Орла, но и писал ему в рескрипте 13 января 1855 года: «Я имею себе в удовольствие выразить вам ныне личные чувства мои и всего Балтийского флота. Мы уважаем вас за ваше доблестное служение, мы гордимся вами и вашей славой, как украшением нашего флота; мы любим вас, как

почтенного товарища, который сдружился с морем и который в морях видит друзей своих. История флота скажет о ваших подвигах детям нашим, но она скажет также, что моряки-современники вполне ценили и понимали вас».

Но Нахимова награды и приветствия занимали мало. От того самого дня, когда французское ядро убило на Малаховом кургане Корнилова, окружающие Нахимова стали замечать в нем твердое, безмолвное решение, смысл которого был им понятен. С каждым месяцем им становилось все яснее, что этот человек не может а не хочет пережить Севастополь.

Могли ли его, если так, интересовать восторги Константина Николаевича, или фальшивые любезности не терпящего его Меншикова, или даже царские милости?

Нахимов решительно ни с кем уже не церемонился. Вот сцена, обнаружившая, что ни малейших способностей к придворному обхождению этот моряк не имел и не считал нужным ими обзаводиться. Царь в восхищении от изумительной деятельности и геройской храбрости Нахимова послал в Севастополь своего флигель-адъютанта Альбединского и поручил ему передать «поцелуй и поклон» Нахимову. Спустя неделю после этого Нахимов с окровавленным лицом после обхода батарей возвращался домой, и вдруг ему навстречу новый флигель-адъютант с новым поклоном от императора Николая. «Милостивый государь! — воскликнул Нахимов. — Вы опять с поклоном-с? Благодарю вас покорно! Я и от первого поклона был целый день болен-с!» Опешивший флигель-адъютант едва ли сразу пришел в себя и от дальнейших слов Нахимова, давно раздраженного беспорядком во всей организации тыла, от которого зависела участь Севастополя. «Не надобно нам поклонов-с! Попросите нам плеть-с! Плеть пожалуйста, милостивый государь, у нас порядка нет-с!» — кричал Нахимов. «Вы ранены?» — спросил тут кто-то. «Неправда-с! — отвечал Нахимов, но тут, заметив все-таки на своем лице кровь, прибавил: — Слишком мало-с! Слишком мало-с!»

Больше Николай Павлович ни поцелуев, ни поклонов Нахимову уже не посылал.

VII

За Альмой — Инкерман, за Инкерманом — Евпатория. Армия Меншикова вне Севастополя терпела поражение за поражением, несмотря на все упорство и храбрость войск.

А в осажденном Севастополе Нахимов, Тотлебен, Истомин и их матросы и солдаты продолжали изумлять врага своей невероятной на первый взгляд и, однако, все крепнущей обороной.

Петербург почти не присылал, несмотря на все мольбы, пороха и сухарей, но снабдил Нахимова новым непосредственным начальством — Остен-Сакеном, а Крымскую армию и Севастополь новым главнокомандующим — князем Михаилом Дмитриевичем Горчаковым, переведенным сюда из Дунайской армии, которой он так неудачно до сих пор командовал.

Некоторые свидетельства (не все) ставят эти два назначения в причинную связь с приездом в Крымскую армию двух великих князей.

Николаю Павловичу показалось почему-то необходимым отправить в Севастополь двух своих младших (и самых бесцветных и малоодаренных) сыновей: Николая и Михаила. Неловким представлялось, что во французской осаждающей армии присутствует двоюродный брат Наполеона III, в английской — родственник королевы герцог Кембриджский, а в русской никого не было из царствующего дома.

Великие князья приезжали дважды и путались без малейшего толка под ногами защитников Севастополя от 23 октября до 3 декабря 1854 года и от 15 января до 21 февраля 1855 года, когда благополучно отбыли снова, уже безвозвратно, в Петербург, к большому облегчению Тотлебена и Нахимова.

Вследствие назначения (28 ноября 1854 года) Остен-Сакена начальником гарнизона адмирал Нахимов оказался его подчиненным, что, конечно, не могло не стеснять свободы действий адмирала. Нечего и говорить, что, несомненно, присутствие великих князей, по сути дела, не могло не отнимать у Нахимова немало времени совершенно непроизводительно.

Но великие князья в Севастополе были неудобством скоропроходящим. А Остен-Сакен и Горчаков остались надолго и благополучно пережили Нахимова, хотя по возрасту были старше. Но оба они несравненно осторожнее, чем Нахимов, вели себя среди

свирепствовавшей в Севастополе «травматической эпидемии», как хирурги уже тогда стали называть войну.

В кровавой и неудачной битве 24 октября 1854 года под Инкерманом, предпринятой Меншиковым с целью отбросить союзников от Сапун-горы, Нахимов не участвовал. Он мог только с полным недоумением и возмущением отнестись к тому, что главная роль в предстоящей битве была дана тому самому присланному из Дунайской армии Данненбергу, которого М. Д. Горчаков постарался поскорее сбить с рук и одарить им Севастополь, после того как Данненберг проиграл на Дунае битву при Ольтенице исключительно вследствие своей растерянности и полной военной бездарности. Любопытно, что и сам Меншиков оценивал генерала Данненберга вполне точно и считал «несчастьем» такое положение, когда бы Данненберг даже временно стал командующим армией.

Генерал Данненберг встретился накануне Инкерманского сражения с Нахимовым и сказал адмиралу: «Извините, что я еще не был у вас с визитом». Нахимов ответил: «Помилуйте, ваше превосходительство, вы лучше бы сделали визит Сапун-горе!»

Но этим дело не окончилось. У нас есть свидетельство, что все-таки Данненберг не понял Нахимова, вероятно, приняв его слова за безобидную шутку. Объехав, как всегда, севастопольские бастионы, Нахимов в канун рокового Инкермана вернулся к себе в каюту пришвартованного к берегу корабля. И вдруг ему докладывают о визитере: генерал Данненберг. Тут уж Нахимов решил говорить яснее: «Ваше превосходительство, говорят, что к завтрашнему дню у вас назначено большое сражение?» Данненберг подтвердил. «Как же это вы накануне сражения теряете время на бесполезные визиты? — сказал тогда адмирал своему гостю. — Неужели вам не предстоит никакого распоряжения, не нужно ничего сообразить?»

Нахимов сейчас же повез своего гостя к Истомину, на обстреливаемый как раз очень жестоко Малахов курган, что, по-видимому, не предусматривалось вовсе программой визита, потому что Данненберг предпочел там не задерживаться и круто сократил посещение.

Русские войска сражались в день Инкермана превосходно, несмотря на безобразные, хаотические, путанные распоряжения начальства; последнее только и спасло союзников от разгрома; по утверждению самих же французских и английских генералов, Данненберг с Меншиковым спасли в этот день союзников. «Мы избежали тогда великой катастрофы», — говорили Мортанпрэ и Вобер-де-Жанлис, вспоминая об Инкермане в начале 1856 года.

После Инкермана всякое доверие к высшему командованию исчезло

бы в Севастополе, если бы оно было в наличии раньше.

«Все очень хорошо, все идет порядочно, только пороху не бог весть сколько и князь Меншиков изменник», — пишет саркастически и с раздражением полковник Виктор Васильчиков своему другу. Но и он, скептик и желчный наблюдатель, не может нахвалиться солдатами и офицерами, и прежде всего героем Нахимовым, которого «матросы, обожавшие своего адмирала, уже успели переименовать и называли за его совсем отчаянную храбрость «Нахименкой бесшабашным», чтобы больше походило на матросскую фамилию. Им хотелось, чтобы он был уже совсем их собственный.

«Нахименко бесшабашный» проделывал такие вещи, что просто заражал своим настроением и офицеров, особенно молодых прапорщиков, и солдат, и матросов. Прапорщик Демидов с отрядом штуцерников поместился в дальнем завале, прямо против англичан. Чтобы придать своим солдатам куражу и доказать им, что англичане штуцерные дурно стреляют, он вышел из завала и прошел мимо всех неприятельских траншей с левого на правый фланг. Затем он сделал себе папироску, стал ее курить, потом пошел назад под прикрытие завала. Но солдаты даже и не нуждались в таких примерах. Не сговариваясь и не размышляя, часто целые партии предпочитали мучительную смерть плену.

Нужно заметить, что Нахимов, сам беспечно подставляя свою голову при всяком удобном случае, категорически воспрещал своим подчиненным какое бы то ни было бесполезное молодечество. У нас есть несколько тому свидетельств.

Наиболее дельными и нужными людьми оказались, как и следовало ожидать, именно те морские и армейские офицеры, которые протестовали против хвастовства и самохвальства. «А знаете, кто у нас из инженеров заслужил всеобщее уважение? Батовский, тот, который всегда кричал против войны и говорил, что шапками не закидаешь неприятеля и что долго с ним повозишься. Он распорядителен и храбр. Пришлось Нахимову сказать ему в первый день бомбардирования: господин офицер, я вас должен буду отправить на гауптвахту, мы нуждаемся в инженерных офицерах, зачем же вы под ядрами стоите и сами пушку наводите?»

И в качестве помощника начальника Севастопольского гарнизона Остен-Сакена, и затем со 2 марта 1855 года в качестве начальника порта и военного губернатора Нахимов и днем и ночью мелькал на бастионах именно в самых опасных, самых слабых пунктах, распорядясь всегда умно, всегда с глубоким знанием дела, отдавая приказы, контролируя лично их исполнение. И в местное свое начальство, и в петербургское он совсем

не верил. Переписки он терпеть не мог, а запросов министерства просто боялся. В это время Павла Степановича можно было назвать душой обороны — он постоянно объезжал бастионы, справлялся, кому что надо, кому снаряды, кому артиллерийскую прислугу и прочее. И постоянно надо было торопиться, чтобы за ночь исправить то, что разрушил неприятель. Ночевал где придется, спал не раздеваясь, потому что собственную свою квартиру он отвел под лазарет для раненых, а личные деньги адмирала шли на помощь отъезжающим семействам моряков. Для матросов и солдат было большим нравственным подспорьем и радостью каждое появление Нахимова на их бастионе».

Техническая оснащенность у неприятеля значительно превосходила нашу, что сказывалось на каждом шагу, и с этим ничего поделать было нельзя.

Нахимов доносил Меншикову 16 февраля 1855 года: «В последние дни, после заката солнца, когда в Севастополе наступает совершенная тишина в воздухе, из траншей, раскинутых за бастионом Корнилова, неприятель бросает к нам конгревовы ракеты: вчера он выпустил до шестидесяти и, как казалось, с трех станков... Донося о сем вашей светлости, имею честь присовокупить, что ракеты, бросаемые неприятелем, преимущественно разрывные, с сильным зажигательным составом, а дальность полета простирается до двух тысяч сажен». Одна из этих ракет, пролетев пять верст, упала в Северную сторону и врылась в землю на три с половиной фута.

По французским данным, эти ракеты били дальше: на 7 километров. А у нас наибольшие дальности мортир сухопутной артиллерии при полных зарядах составляли от 997 до 1085 сажен, то есть немногим более двух верст.

«Нахимов на военных советах настойчиво высказывался о необходимости вести оборону, пока не перебьют всех моряков», в то время как «Горчаков, старик, выживший из ума, чуждый флота, только чиновник, вступив в управление армией и видя большую потерю людей в Севастополе, задался целью на свой страх бросить Севастополь. Отсюда трагизм осажденных», пишет в своих проникнутых горечью черновых заметках участник обороны Ухтомский. Истомин был вне себя от гнева, испытывая постоянные отказы и задержки, когда требовал средств на оборону. Но беспокойные люди вроде Истомина или Нахимова скоро умолкали, так как долго на свете не заживались, в прямую противоположность хотя бы тому же Д. Е. Остен-Сакену, который родился в год начала французской революции — в 1789 году, прослужил на военной

службе сряду семьдесят шесть лет, сподобился умереть в 1881 году, девяноста двух лет от роду, и ни разу не был ни ранен, ни даже контужен, так как «смолоду умел беречь себя для отечества» (по счастливой догадке пораженного этим фактом автора одной некрологической заметки об Остен-Сакене).

В этом отношении Остен-Сакенам и Меншиковым вообще везло, а Нахимовым нисколько не везло. Впоследствии, отмечу кстати, льстец и карьерист Комовский, делавший карьеру при Меншикове и очень хорошо знавший, как относился Нахимов к князю и его клеветам, не мог скрыть своей радости по поводу гибели Нахимова. Комовский, сообщая о смертельной ране Нахимова, делится с Меншиковым одним своим мистико-религиозным открытием: оказывается, само небо аккуратно убирает прочь тех адмиралов, которые непочтительно относятся к князю Александру Сергеевичу. «Странное дело: очереди его (Нахимова) я ждал, хотя поистине считал большой утратой его потерю... Но ожидал потому, что по наблюдению заметил, что все *пессимисты и порицатели вашей светлости как-то не сберегались судьбой*». Вот почему после Истомина Комовский стал поджидать гибели Нахимова. Он мог бы привести еще и Корнилова для полноты доказательств в пользу своего интересного открытия, не говоря уже о десятках тысяч погибших в Севастополе матросов и солдат, тоже порицавших «его светлость».

2 марта 1855 года Нахимов, бывший до сих пор помощником начальника гарнизона, был назначен командиром Севастопольского порта и военным губернатором города Севастополя, а через пять дней его и защищаемый им город постиг тяжелый удар: 7 марта, когда начальник Корниловского бастиона на Малаховом кургане, адмирал Владимир Иванович Истомин шел от Камчатского люнета к себе на Малахов курган, у него ядром оторвало голову.

Смерть Истомина была тяжким ударом для обороны Севастополя, и Нахимов, снова вторя своей тайной мысли, которая, впрочем, для окружавших его уже перестала быть тайной, говорил о могиле, которую «берег для себя», но уступает теперь Истомину. Он не желал пережить Севастополь и не верил, что Севастополь устоит. Вот письмо, которым извещал Нахимов Константина Истомина о гибели его брата:

«Общий наш друг Владимир Иванович убит неприятельским ядром. Вы знали наши дружеские с ним отношения, и потому я не стану говорить о своих чувствах, о своей глубокой скорби при вести о его смерти. Спешу Вам только передать об общем участии, которое возбудило во всех потеря товарища и начальника, всеми любимого. Оборона Севастополя потеряла в

нем одного из своих главных деятелей, воодушевленного постоянно благородною энергиею и геройской решительностью: даже враги наши удивляются грозным сооружениям Корнилова бастиона и всей четвертой дистанции, на которую был избран покойный, как на пост, самый важный и вместе самый слабый.

По единодушному желанию всех нас, бывших его сослуживцев, мы погребли тело его в почетной и священной могиле для черноморских моряков, в том склепе, где лежит прах незабвенного адмирала Михаила Петровича (Лазарева) и первая, вместе высокая жертва защиты Севастополя — покойный Владимир Алексеевич (Корнилов). Я берег это место для себя, но решил уступить ему.

Извещая Вас, любезный друг, об этом горестном для всех нас событии, я надеюсь, что для Вас будет отрадной мыслью знать наше участие и любовь к покойному Владимиру Ивановичу, который жил и умер завидною смертью героя. Три праха в склепе Владимирского собора будут служить святынею для всех настоящих и будущих моряков Черноморского флота. Посылаю Вам кусок георгиевской ленты, бывшей на шее у покойного в день его смерти: самый же крест разбит на мелкие части. Подробный отчет о его деньгах и вещах я не замедлю переслать к Вам».

Четверка, которая в первое же бомбардирование 5 октября 1854 года превратилась в тройку, теперь уменьшилась еще на одну единицу. За Корниловым пал Истомин. И так же, как никто со стороны не заменил Корнилова, не оказалось равноценной замены и Истомину. Нахимову и Тотлебену только пришлось взять на себя еще одну добавочную нагрузку.

Хрулев, Хрущов, Васильчиков, а главное, самое важное, матросы, солдаты, землекопы — рабочие в своей массе — вот на кого, как и прежде, возлагал свои надежды Нахимов. На таланты же нового главнокомандующего князя Горчакова ни они, ни Тотлебен никаких упований не возлагали.

Горчаков знал, как не терпели солдаты и матросы его предшественника, и ему хотелось быть приветливее, ободрять людей на бастионах и в поле. Но он не знал, как это делается. И как превозмочь одну досадную при этом трудность.

Дело в том, что по-французски князь Горчаков объяснялся ничуть не хуже, например, маршала Пелисье или Наполеона III, но вот как раз именно русский язык ему не вполне давался, хоть брось, несмотря на искреннее и давнишнее желание князя Михаила Дмитриевича одолеть это, правда, трудное, но безусловно полезное для русского главнокомандующего наречие. «Я спросил, на каком языке князь Горчаков говорил свои нежные

приветствия войскам, ибо на природном даже не каждый его понимает» — так отозвался старый Ермолов, когда при нем заметили, что Горчаков более приветлив с войсками, чем Меншиков.

Главнокомандующий князь Горчаков почти вовсе не появлялся на бастионах, а когда и бывал, то, проходя быстро, благодарил солдат, но говорил при этом так тихо, что не был слышан, и солдаты, по-видимому, недоумевали, кто это такой и что ему от них угодно. Да и вообще вел себя в эти неприятные и редчайшие для него секунды больше как любознательный путешественник. «На исходящем углу бастиона Горчаков посмотрел через амбразуру и спросил: «Что это за мешки впереди бастионов?» — «Французские окопы». — «Так близко?» — «Около тридцати шагов от траншей за воронками». По-видимому, этим ответом любопытство князя Горчакова было настолько полно удовлетворено, что он отбыл без дальнейшей потери времени и на этом бастионе больше уже и не удосужился побывать. Но зато вечером прибыл адмирал Нахимов, мы беззаботно прохаживались с ним по батарее под градом пуль и бомб, — последних одних насчитали около двухсот», — вспоминает один из участников Севастопольской обороны.

Этот страшный четвертый бастион, центр второго отделения оборонительной линии города Севастополя, был для Нахимова местом почти ежедневной «прогулки», и обреченные на почти неизбежную гибель солдаты и матросы-артиллеристы сияли, когда видели своего любимца, и не только потому, что «через него все требования удовлетворялись без всякого промедления», как свидетельствует командир четвертого бастиона, но прежде всего потому, что их просто как бы гипнотизировала та невероятная беспечность, полнейшая беззаботность, самое вызывающее презрение к смертельной опасности, которые Нахимов всегда выказывал на глазах у всех. Он не позволял солдатам и матросам показываться из блиндажей, а сам гулял на ничем не прикрытом месте — и это на том бастионе, который находился в нескольких десятках сажен от французских стрелков, бивших ядрами, бомбами, штуцерными пулями по этому укреплению.

27 марта 1855 года Нахимов был произведен в полные адмиралы. В своем приказе по Севастопольскому порту от 12 апреля Нахимов писал: «Матросы! Мне ли говорить вам о ваших подвигах на защиту родного нам Севастополя и флота? Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию. Мы сдружились давно, я горжусь вами с детства...»

Нахимова любили все, даже те, на кого он часто кричал и топал

ногами за лень или за оплошность, нерадение или опоздание. Но даже очень любившие его иногда укоряли адмирала в том, что он не умел в полной мере воспользоваться колоссальным авторитетом, который приобрел. С гневом и презрением наблюдал он за гнуснейшим необъятным воровством интендантов и провиантмейстеров, но был бессилён заставить Меншикова, а потом Горчакова, Семякина, Остен-Сакена, Коцебу круто и беспощадно расправиться хоть с кем-нибудь из этих воров, подтачивающих оборону Севастополя в помощь французским и английским бомбам. Точно так же он делал все возможное и невозможное, чтобы поправить ошибки бездарного начальства, но оказывался не в силах воспрепятствовать этим ошибкам. Он умно и глубоко продуманно организовал систематическую защиту Камчатского люнета и лично, как увидим, чуть не погиб 26 мая 1855 года при падении этого люнета, но он не мог заставить верховное командование отказаться от самой нелепой мысли: например о сооружении некоторых ложементов перед первым редутом.

После кровавой борьбы и тяжких потерь, конечно, эти новые, наиболее близкие неприятелю ложементы, просуществовавшие в законченном виде девять дней, были в ночь на 20 апреля взяты французами. Нахимов был душой обороны, могучей физической силой обороны, которой мог двигать по произволу и которая в его руках могла творить чудеса. Нахимов распоряжался, как никто. «По званию хозяин Севастополя, постоянно на укреплениях, вникая во все подробности их нужд и недостатков, он всегда устранял последние, а своим прямым вмешательством в ссоры генералов он настойчиво прекращал их» — так пишет о Нахимове человек, который явно не предназначал свою рукопись к печати, потому что он тут же называет главнокомандующего Меншикова придворным шутом, а Николая Павловича — «восточным падишахом», который «покоился в сладкой уверенности своего всемогущества».

«То была колоссальная личность, гордость Черноморского флота! — говорит о Нахимове наблюдавший его ежедневно в последние месяцы его жизни полковник Меньков. — Необыкновенное самоотвержение, непонятное презрение к опасности, постоянная деятельность и готовность выше сил сделать все для спасения родного Севастополя и флота были отличительные черты Павла Степановича!.. Упрямый, как большая часть моряков во всех вопросах, где море и суша сходились на одних интересах, случись это хоть на Малаховом кургане, Павел Степанович всегда брал сторону своих. При том обожании, каким его всегда окружали матросы, он знал, чем их наказывать: «Одно его слово, сердитый, недовольный взгляд были выше всех строгостей для морской вольницы». И Меньков тоже

настаивает, как и многие другие очевидцы, на том поведении Нахимова, которое особенно стало бросаться в глаза в последние месяцы его жизни:

«Начнут ли где стрелять сильнее обыкновенного, Павел Степанович тотчас настороже, смотришь, на коне и мчится к опасному месту.

Раз встретил его барон Остен-Сакен и начал говорить: «Не бережете вы себя, Павел Степанович, жизнь ваша нужна России!» Павел Степанович внимательно слушал, махал рукой да в ответ ему: «Эх, ваше сиятельство, не то говорите вы! Севастополь беречь следует, а убьют меня или вас — беда невелика-с! Вот беда, как убьют князя Васильчикова или Тотлебена. Вот это беда-с!» Это Нахимов говорил о начальнике штаба гарнизона Викторе Васильчикове, умном, талантливом, храбрейшем генерале, которого Горчаков послал было к Меншикову после Альмы, но Меншиков его встретил «по своему неприветливому обычаю» (слова Менькова) и выжил из армии, а тот прибыл после Инкермана вновь и уж остался до конца. Но и его должность, как и должность самого Нахимова, была подчиненная: Васильчиков был начальником штаба только гарнизона, а не начальником штаба главнокомандующего, каковым был Коцебу, который заменил на этом посту Семякина.

Нахимову, Тотлебену, как и погибшим до Нахимова Корнилову и Истомину, как и Васильчикову, или С. Хрулеву, или А. Хруцову, никогда не суждено было достигнуть той иерархической вершины, на которой стояли Меншиков, Остен-Сакен, Михаил Горчаков.

Могучее влияние Нахимова на гарнизон в эти последние месяцы его жизни казалось беспредельным. Матросов давно называли «нахимовскими львами», но и солдаты, которые ведь только понаслышке знали о Нахимове, пока не попали в севастопольские бастионы, очень скоро стали на него смотреть так же, как рядом с ними сражавшиеся матросы.

«К концу обороны Севастополя немного моряков уцелело на батареях, но зато весело было смотреть на эти дивные обломки Черноморского флота. Уцелевшие на батареях моряки по преимуществу были комендоры при орудиях... Белая рубашка... Георгиевский крест на груди... Отвага, ловкость и удаль, соединенные с гордым сознанием собственного дела и совершенным презрением к смерти, бесспорно, давали им первое место в ряду славных защитников Севастополя» — так вспоминает о них полковник Меньков, бывший в Севастополе при штабе М. Д. Горчакова с середины марта до конца осады и имевший поручения вести официальный дневник («журнал») военных операций.

Об этом нахимовском поколении моряков, почти полностью погибшем в Севастополе, не могли забыть и постоянно вспоминали и русские

товарищи по обороне, и неприятельские военачальники.

VIII

Наступила тяжкая, на редкость для Крыма суровая зима, с морозами, снегами, с буйными северо-восточными ветрами. Терпел гарнизон в Севастополе, терпела русская армия на Бельбеке, но жестоко страдал и неприятель. Открылись поварьные болезни среди осаждающих. Страшная буря 2(14) ноября разметала часть неприятельского флота, погибли некоторые суда.

Снег то таял и образовывал топи и лужи, то снова все замерзло. Холера и кровавый понос опустошали ряды французской, английской, турецкой армий ничуть не меньше, чем русские войска. Среди солдат осаждающей армии стал явственно замечаться упадок духа. Число дезертиров, перебежчиков возрастало.

Тотлебен воспользовался начавшим явно ощущаться ослаблением неприятеля, чтобы не только усилить постоянные оборонительные верки крепости, им же самим в сентябре, октябре, ноябре созданные, но и устроить по указанию Нахимова новые три батареи, которые должны были бы держать под своим огнем Артиллерийскую бухту: Нахимов убедился, что зимние бури размыли и растрепали то заграждение рейда, которое было устроено из потопленных в сентябре русских кораблей, и, следовательно, союзный флот получил возможность прорваться на рейд и, войдя в Артиллерийскую бухту, бомбардировать Севастополь. Тотлебен выполнил требование Нахимова.

«Служба войск на батареях и в траншеях по колено в грязи и в воде, без укрытия от непогоды, была весьма тягостна, — пишет руководитель оборонительных работ Тотлебен и прибавляет: — Притом же в продолжение целой зимы наши войска не имели вовсе теплой одежды».

Но солдаты, матросы и севастопольские рабочие даже и в легкой одежде продолжали, к восторгу Тотлебена, работать суровой зимой с усердием и преданностью делу, несмотря на морозы, снега, дожди, новые морозы и новые оттепели.

Первый редут был заложен в ночь с 9 на 10 февраля, так как в его устройстве участвовали главным образом люди Селенгинского полка, то этот редут, отстоявший от передовой французской укрепленной параллели всего на 400 сажень, стал называться Селенгинским. Французы с большими силами тотчас же обрушились на этот редут, но селенгинцы и волынцы, предводимые Хрущовым, не только отбили зуавов и другие отборные

французские части, но и прогнали их почти до французской линии. Своевременно очень дальновидно и умело поставленные Нахимовым корабли «Чесма» и «Владимир» в разгар боя открыли учащенную стрельбу по французским резервам. В ночь с 16 на 17 февраля несколько левее Селенгинского и еще ближе к неприятелю (уже в трехстах всего саженях от французов) был заложен второй редут — Волынский.

Не довольствуясь этим, Тотлебен с неслыханной быстротой устроил еще линию небольших укреплений, ложементов, пред обоими редутами. Укрепившись здесь, Тотлебен обратил все внимание на третью часть общей поставленной им задачи, состоявшей в том, чтобы оградить подступы к Малахову кургану, от целостности которого зависело спасение или гибель Севастополя.

С тех пор, в течение второй половины февраля, в течение всего марта, апреля, мая, главные усилия французов и англичан, сначала не сумевших помешать устройству обоих редутов и люнета, а потом оказавшихся бессильными повторными натисками отнять их у русских, были направлены именно на эту цель. Без Малахова кургана им никогда не взять Севастополя, а пока Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет в руках русских, до тех пор не взять союзникам никогда Малахова кургана. Это хорошо понимали и английские и французские военачальники.

Упорнейшая борьба закипела вокруг этих выдвинутых непосредственно против неприятеля трех укреплений. С большим трудом и потерями союзникам удалось в самом конце марта после интенсивнейшей бомбардировки и повторных атак ворваться в ложементы впереди пятого бастиона и редута Шварца, и после того, как русские дважды штыками выгоняли их оттуда, они в ночь с 1 на 2 апреля все-таки разрушили некоторые ложементы окончательно. Но оба редута и Камчатский люнет и в апреле враг не смог одолеть, хотя снарядов у защитников Севастополя становилось мало, пороха не присылали, приходилось в разгаре боев думать об экономии и слабее, чем нужно, отстреливаться. Да и людей становилось мало: и солдаты, и рядовое офицерство, и матросы со своими мичманами и лейтенантами лезли прямо в огонь, не щадя себя.

Нахимов вынужден был в особом приказе напомнить, что нужно быть поспешиее в трате этих трех драгоценностей: крови, пороха и снарядов. 2 марта 1855 года, в день назначения своего на должность командира порта и военного губернатора, он издал приказ по гарнизону Севастополя, где напоминал «всем начальникам священную обязанность, на них лежащую, именно предварительно озаботиться, чтобы при открытии огня с

неприятельских батарей не было ни одного лишнего человека не только в открытых местах и без дела, но даже прислуга у орудий и число людей для различных работ были ограничены крайней необходимостью. Заботливый офицер, пользуясь обстоятельствами, всегда отыщет средства сделать экономию в людях и тем уменьшить число подвергающихся опасности. Любопытство, свойственное отваге, одушевляющей доблестный гарнизон Севастополя, в особенности не должно быть допущено частными начальниками... Я надеюсь, что гг. дистанционные и отделенные начальники войск обратят полное внимание на этот предмет и разделят своих офицеров на очереди, приказав свободным находиться под блиндажами и в закрытых местах. При этом прошу внушить им, что жизнь каждого из них принадлежит отечеству и что не удальство, а только истинная храбрость приносит пользу ему и честь. Пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз повторить запрещение частой пальбы. Кроме неверности выстрелов, естественного следствия торопливости, трата пороха и снарядов составляет такой важный предмет, что никакая храбрость, никакая заслуга не должны оправдать офицера, допустившего ее».

Упорная борьба из-за двух редутов и люнета продолжалась. Еще в середине февраля Нахимов, считаясь с тем, что зимние непогоды сильно испортили заграждение из потопленных в сентябре пяти кораблей, затопил новую партию судов: корабли «Двенадцать апостолов», «Ростислав», «Святослав», «Гавриил» и два фрегата — «Мидия» и «Месемврия». Проход неприятеля на рейд стал снова невозможным.

Болезни, холод, русские ядра и пули косили осаждающих. Энергия севастопольского гарнизона, выстроившего в самых невероятных условиях, буквально под дождем ядер и штуцерных пуль, Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет и три месяца отбивавшего все нападения на них, посеяла в осаждающих чувство растерянности, которого еще не было даже в тяжелом морозном январе 1855 года. Но тут на помощь неприятелю, уже начинавшему иногда думать об отходе от крепости, явился дипломатический шпионаж. «В мае 1855 года в Париже отчаивались взять Севастополь, уже готовились остановиться на крайнем решении снять осаду, когда правительство императора Наполеона III неожиданно, посредством таинственных откровений, узнало, что Россия уже истощила свои средства, что ее армии изнемогают...» — именно в таких словах характеризует сложившуюся ситуацию один из источников.

Эти «таинственные откровения» ничего таинственного для историка теперь уже не представляют: прусский военный атташе в Петербурге граф Мюнстер писал в «частных письмах» своему «другу» генералу фон Герлаху

в Берлин, передавая все, о чем в его присутствии непозволительно и безответственно выбалтывалось при русском дворе и в аристократических салонах русской столицы, и все, что он добывал также и всякими иными средствами. А французский посол в Берлине, маркиз де Мустье, купил копии этих «дружеских» писем у выкравшего их сыщика и переслал их в Париж Наполеону III, как раз когда русские два редута и Камчатский люнет проводили того в смущение своей непреоборимостью. «Предвидели, что если неприятелю (то есть русским) удастся прочно укрепиться на некоторых отдельных пунктах, а именно перед Малаховым курганом и Корниловским бастионом, то его огонь сделается неодолимым, его снаряды будут перелетать через гавань и будут достигать до северного берега (бухты). Тогда счастье улыбнулось императору (Наполеону III): в тот час, когда он считал уже все скомпрометированным, он узнал, что он выиграл партию», — читаем мы в том же источнике дальше.

Едва в Париже были получены из Берлина известия о приближающемся истощении русских ресурсов, как в официальном органе французской империи «Монитор» появилась ликующая статья о близости победы, а из Тюильрийского дворца и военного министерства полетели к генералу Пелисье настоячивые требования прежде всего немедленно покончить с войной, и покончить следующим образом: напасть на русскую армию, стоящую на Бельбеке, разгромить ее, затем окружить Севастополь также и с Северной стороны и принудить город к скорой сдаче. Но Пелисье имел уже свой план, состоявший в том, чтобы не делать ничего похожего на то, что требовал император, а вместо этого как можно быстрее покончить с тремя русскими контрапрошами, взяв их, овладеть Камчатским люнетом и штурмовать затем Малахов курган.

Тотлебен и Нахимов совсем ничего не знали об этой смене настроений в Тюильрийском дворце, о противоречиях и несогласиях между Наполеоном III и Пелисье, но зато очень твердо усвоили мысль, что французы должны покончить с этими тремя русскими контрапрошами, и поэтому готовились к новым тяжким боям.

Нахимов понимал громадное значение Камчатского люнета и именно поэтому мог не сомневаться, что французское верховное командование изо всех сил будет стараться с ним покончить. Перед этим люнетом были отборные французские войска, обильно снабженные саперными силами. Нахимов ставил лучших офицеров для наблюдения за всеми попытками французов приблизиться к люнету. И офицеры и солдаты этого русского наблюдательного поста погибли быстро один за другим.

Вот что писал Нахимов 24 марта 1855 года отцу одного из погибших

на этом опасном посту: «Доблестная военная жизнь ваша дает мне право говорить с вами откровенно, несмотря на чувствительность предмета. Согласившись на просьбу сына, вы послали его в Севастополь не для наград и отличий, а движимые чувством святого долга, лежащего на каждом русском и в особенности моряке. Вы благословили его на подвиг, к которому призвал его пример и внушения, полученные им с детства от отца своего; вы свято довершили свою обязанность, он с честью выполнял свою. Почетное назначение — наблюдать за войсками, расположенными в ложементх перед Камчатским люнетом, — было возложено на него, как на офицера, каких нелегко найти в Севастополе, и только вследствие его желания. Каждую ночь осыпaeмый градом пуль, он ни на минуту не забывал важности своего поста и к утру с гордостью мог указать, что бдительность была не даром: с минуты его назначения неприятель, принимаясь вести работы тихою сапою, не продвинулся ни на вершок. Несмотря на высокое самоотвержение свое, ни одна пуля его не задела, а всевышнему богу угодно было, чтобы случайная граната была причиною его смерти, — в один час ночи с 22 на 23 число он убит... В Севастополе, где весть о смерти почти уже не производит впечатления, сын ваш был одним из немногих, на долю которых досталось искреннее соболезнование всех моряков и всех знавших его. Он погребен в Ушаковой балке; провожая его в могилу, я был свидетелем непритворных слез и грусти окружающих. Сообщая эту горестную весть, я прошу верить, что вместе с вами и мы, товарищи его, разделяем ваши чувства; прекрасный офицер, редких душевных достоинств человек, он был украшением и гордостью нашего общества, а смерть его мы будем вспоминать как горькую жертву, необходимую для искупления Севастополя. Оканчивая письмо, я осмеливаюсь просить вас доставить мне случай хотя косвенным образом быть полезным его несчастной супруге и ее семейству».

Судьба люнета была предрешена. Спустя несколько дней наступила развязка.

Вот что говорят русские источники, дающие гораздо больше подробностей, но в общем не противоречащие французским и английским свидетельствам:

«В пять часов дня (26 мая — 7 июня н. ст.) мы заметили массы неприятельских войск, стремившихся на левый наш фланг; но огонь был так силен, что дым и пыль все помрачали и не было никакой возможности следить за дальнейшими движениями. Вскоре после того по телеграфу дано знать, что неприятель завладел двумя редутами — Волынским и Селенгинским. Там завязалось страшное сражение. Много войск

отправлено туда и из города. Ружейная пальба продолжалась всю ночь до утра. В 6 часов пришла весть, что и Камчатский редут тоже взят. Происшествия эти подействовали на всех хуже предсмертных известий, звук голоса у каждого заметно изменился. К счастью, сзади Камчатского редута была непрерывная линия. Не будь ее, Севастополь тогда же мог пасть». Спасли его Нахимов и Хрулев, который, замечу к слову, был сюда переведен тем же Нахимовым, понимавшим лучше всех значение этой линии и ставившим сюда самых лучших командиров, которыми только располагал. Цитируемый автор неточно называет Камчатское укрепление редутом; это был не редут, а люнет, так как бы укреплен лишь с трех сторон, а его «горжа», четвертая сторона, повернутая к постоянным севастопольским веркам, была оставлена открытой.

Этот штурм двух редутов и Камчатского люнета, нужно тут же сказать, был подготовлен начавшимся накануне, 25 мая (6 июня), новым, колоссальных размеров общим бомбардированием Севастополя и всех его укреплений. Отстреливаться к концу дня с Камчатского люнета стало почти невозможно. Временно был приведен к молчанию и лежащий за Камчатским люнетом Малахов курган. На другой день, 26 мая, с рассвета неприятельский огонь возобновился с новой силой — он, впрочем, и ночью ослабел не очень значительно. Подверглись на этот раз с утра уже страшному опустошению и Волынский и Селенгинский редуты, и Малахов курган.

Но вот с трех часов дня вдруг все английские батареи, которые до сих пор с утра 26-го били по Малахову кургану, сразу прекратили обстрел Малахова и повернулись против Камчатского люнета, так страшно пострадавшего накануне и еще не восстановленного, несмотря на все ночные усилия его уцелевших защитников. Тут-то и сказалось губительное, совершенно бессмысленное распоряжение Жабокритского, с такой беспечной легкостью одобренное штабом гарнизона за четыре дня до того, 22 мая, и включенное в диспозицию. Этой диспозицией были «ослаблены до крайней степени» (слова Тотлебена) именно те части, которые должны были защищать оба редута и люнет.

И вдруг перед вечером 26 мая по русской линии пронесся грозный слух, что французы готовят штурм обоих редутов и Камчатского люнета. Измученной уцелевшей горсточке людей, защищавших Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет, в котором, как сказано, еще до двухдневного адского огня было в общей сложности 800 человек, а теперь, к вечеру 26-го, оставалось в лучшем случае человек шестьсот, предстояло выдержать специально против нее направленный штурм. А силы, которые

генерал Пелисье отрядил для штурма, были подавляюще огромны.

Положение русских было совсем отчаянное. Когда сигнальщики с наблюдательных постов к вечеру 26 мая заметили сбор и движение во французских траншеях и одновременно получили сведения от перебежчиков, что нужно ожидать немедленного штурма, все устремились за распоряжениями к генералу Жабокритскому, виновнику безобразного ослабления редутов и люнета, к человеку, отдавшему их на гибель. Но, узнав о готовящемся штурме, генерал Жабокритский внезапно объявил, что ему нездоровится, и, бросив все на произвол судьбы, не сделав никаких распоряжений, уехал от назойливых вопросов, не теряя времени, на другой конец города.

Убегая на Северную сторону, Жабокритский, может быть, успокаивал свою совесть надеждой, что авось редуты и люнет и не погибнут; остались пока вот эти Нахимовы, Хрулевы и Тотлебены, которые всюду суются, у которых еще пока не снесло ядром голову, как у Истомина, и не отбило внутренностей, как у Корнилова, и которые каким-то образом обыкновенно выручают и поправляют дело, сколько бы его ни портить. Но на этот раз все было так основательно испорчено, что никакое геройство Нахимова и его матросов, Хрулева и его солдат не помогло.

В начале седьмого часа вечера 26 мая, когда французы бросились на штурм разом на оба редута и под Камчатский люнет, и штурмующие колонны в составе двух полных бригад после отчаянной схватки выбили прочь несколько сот защитников Селенгинского и Волынского редутов, Хрулев быстро подтянул подкрепления и остановил дальнейшее продвижение французов, нанеся неприятелю тяжкие потери, но и страшно потерпев от ружейного и орудийного огня.

Нахимов, едва только узнав о готовящемся штурме, помчался на место действия и явился на самый опасный из всех угрожаемых пунктов — на Камчатский люнет. Не успел он соскочить с лошади и подойти к батареям, как начался штурм люнета. Нахимов поднялся на вышку и убедился, что неприятель идет штурмовать люнет в огромных силах разом с трех сторон. Матросы встретили штыками и ружейным огнем ворвавшихся в люнет зуавов и французских гвардейцев. Как и все прочие свидетели, Тотлебен приписывает безудержную ярость совсем безнадежной с самого начала защиты Камчатского люнета присутствию Нахимова: «Матросы, одушевленные присутствием любимого начальника, с отчаянием защищали свои орудия. Непонятно, как в этой отчаянной свалке, где на каждого русского матроса приходилось человек десять французов, не был убит или взят в плен Нахимов. Его высокая сутулая фигура в сюртуке с золотыми

эполетами, которых он и тут, отправляясь на штурм, не пожелал снять, бросалась в глаза прежде всего атакующему неприятелю».

Но вот новая французская часть обошла Камчатский люнет с тыла. Уцелевшая кучка матросов и солдат окружила Нахимова, пробила себе дорогу отступления штыками и остановилась за куртиной, шедшей от Малахова кургана до второго бастиона. Французы решили выбить оттуда Нахимова с его кучкой. Малахов курган в это время почти не отвечал на огонь неприятеля, овладевшего и Селенгинским и Волынским редутами и Камчатским люнетом и уже поведшего обстрел Малахова кургана с самого близкого расстояния. Хрулев, подоспевший с быстро собранными им резервами, спас и Малахов курган и отбил у французов отчаянной штыковой атакой Камчатский люнет. Но новой контратакой французы снова им овладели. Нахимов уже перешел со своим отрядом из куртины на Малахов курган и сейчас же открыл сильный артиллерийский огонь по занятому французами вторично Камчатскому люнету. Вот что читаем в дневнике, веденном командиром люнета Тимирязевым (26 мая): «Шесть часов пополудни... Признаюсь, положение было самое незавидное того, кто должен был защищать редут: 125 человек команды и надежда на помощь божию — вот были данные, на которых я полагал защиту люнета. Но вдруг невидимо господь послал люнету Павла Степановича, который не задумался в эти критические минуты известить тех, которым совет его был необходим. Адмиралу сопутствовал адъютант царя лейтенант Финьгаузен. В коротких словах передал адмиралу положение своего люнета и неизбежность штурма. Но все-таки он приказал показать повреждение в артиллерии. Едва лишь прошли 15-е орудие, как доклад вахтенного офицера мичмана Харламова о наступлении неприятеля заставил меня просить адмирала удалиться и прислать подкрепления. Но, не внемля просьбе моей, адмирал, обнажая кортик, вскочил на банкет. Просьбу я повторил второй раз и уверил его, что бесполезно его пребывание, — все, что можно будет сделать для защиты редута, будет исполнено. Удивило меня то, что адмирал в первый раз послушал убеждений. Не раз случалось мне говорить ему при посещении люнета, когда он, взойдя на банкет, довольно долго стоял открытым до половины груди. Обыкновенно в ответ его слова были: «Сойдите сами, если хотите». Иногда он варьировал: «Я вас не держу».

Нахимов был, таким образом, на Камчатском люнете в грозные часы, когда французы пошли на приступ окончательно разрушенного предшествующими бомбардировками укрепления. Адмирал лично убедился в абсолютной невозможности держаться далее на люнете, и, когда

израненный, случайно уцелевший командир люнета лейтенант Тимирязев просил потом о назначении над собой следствия, Нахимов ответил самой лестной хвалой в одном из тех писем, которыми он умел награждать своих лучших помощников:

«Бывши личным свидетелем разрушенного и совершенно беззащитного состояния, в котором находился редут ваш, и, несмотря на это, бодрого и молодецкого духа команды и тех усилий, которые употребили вы к очищению амбразур и приведению в возможность действовать хотя несколькими орудиями, наконец видевши прикрытие (под) значительно усиленным огнем неприятеля, я не только не нахожу нужным назначение какого-либо следствия, но признаю поведение ваше в эти критические минуты в высшей степени благородным. Защищая редут до последней крайности, заклепавши орудия и взявши с собой даже принадлежности, чем отняли у неприятеля возможность вредить вам при отступлении, и, наконец, оставивши редут последним, когда были два раза ранены, вы выказали настоящий военный характер, вполне заслуживающий награды, и я не замедлю ходатайствовать об этом перед г. главнокомандующим. Адмирал Нахимов».

С Камчатским люнетом пали 26 мая и два редута, созданные с одной и той же целью, — Волынский и Селенгинский.

На другой день Нахимов собрал у себя военный совет и поставил вопрос: делать ли усилия, чтобы отобрать у французов эти редуты, или оставить их в руках неприятеля? Решено было оставить неприятелю. Предвиделся новый отчаянный общий штурм Севастополя.

При боях у Камчатского люнета Нахимов был контужен. Он знал, что потеря трех контрапрошей произвела удручающее впечатление на офицеров, и он ставил им в пример никогда не унывающих матросов и солдат. «Нет-с, у нас тут нет уныния. А что они будут теперь бить наши корабли, пускай бьют-с — не конфектами, не яблочками перебрасываемся. Вот меня сегодня самого чуть не убило осколком — спины не могу разогнуть, да это ничего еще, слава богу, не слег».

Итак, редуты и Камчатский люнет, эти контрапроши, так сильно защищавшие Малахов курган, оказались во власти неприятеля.

Для Нахимова и Тотлебена вывод отсюда был ясен: нужно еще удвоить усилия по обороне, потому что теперь следует ждать со дня на день общего штурма Севастополя. С этого времени положение уже не менялось. Горчаков все выискивает способы, как поудобнее, с наименьшим материальным и моральным ущербом для русских войск, сдать Севастополь, а Нахимов и его матросы и солдаты не желали об этом и

слышать, и, так же как в октябре и ноябре 1854 года Меншиков, так теперь, весной 1855 года, Горчаков просто не осмеливался вслух заговорить о сдаче, а только делился этими своими предположениями с Петербургом.

IX

Пелисье, очень приободренный успешным штурмом трех русских контрапрошей 7 июня (26 мая), а с другой стороны, теснимый и раздражаемый упорными телеграфными требованиями императора, чтобы он сначала разбил и уничтожил русскую армию, а потом со всех сторон замкнул линию осады вокруг города, считая вместе с тем этот проект, выработанный в Париже, совершенно нелепым и неисполнимым, решил действовать немедленно согласно своему, а не императорскому плану. Он задумал тотчас же, только дав войскам несколько дней на отдых, предпринять не более и не менее как общий штурм русской оборонительной линии и взять Севастополь.

В течение предыдущего дня, 5(17) июня, шла усиленная бомбардировка города и с суши и с моря, а ночью часть парового флота союзников (десять судов) начала усиленно обстреливать Южную сторону. Бомбардирование не прекращалось уже с полуночи ни на один час. И вдруг, совсем неожиданно не только для русских, но и для союзников, в 3 часа ночи начался штурм. Дело в том, что генерал Мейран по ошибке принял одну ракету за условленный сигнал и бросился со своей дивизией вперед.

Русские встретили штурмующие колонны убийственным, очень метким огнем. Французы были отброшены с громадными потерями, и одновременно Пелисье получил точные сведения, что с моря шесть русских судов громят Киленбалку и расположенные там французские резервные полки.

Несмотря на эту тяжкую неудачу в самом начале дела, Пелисье энергично продолжал повторные штурмы. По крайней мере пять штурмов (из них два на Малахов курган) были произведены союзниками уже в первые часы этого кровавого дня, и все пять были блистательно отбиты русскими. Шестой штурм, снова направленный на Малахов курган, казалось, сулил французам успех: штурмующая колонна уже ворвалась в одну батарею (№ 6, батарея Жерве), переколола часть находившегося там батальона Полтавского полка, вытеснила остаток батальона и бросилась дальше. Но тут подоспел генерал Хрулев. После отчаянного рукопашного боя французы были отчасти перебиты, отчасти отброшены прочь. Из 138 солдат русской роты, которая первая, не ожидая еще подмоги, бросилась на неприятеля, были перебиты 105 человек во главе с Островским. К вечеру неприятель, отбитый на всех пунктах, ушел окончательно в свои траншеи.

Русские защитники Севастополя одержали самую полную победу, какую только могут одержать осажденные над осаждающими, — победу, объясняемую не только героизмом русских войск, но и многочисленными ошибками французского и английского командований. Французы потеряли в этот день около 5 тысяч человек (2 тысячи убитых и около 3 тысяч раненых), англичане — больше 2 тысяч человек (из них около 400 убитых и 1600 раненых). Но и русские потери были тяжелы: около 4720 человек, из них около 780 убитых, 3132 раненых, 815 контуженых.

Севастопольский гарнизон сильно приободрился после этой в самом деле блестящей победы. Однако июнь принес Севастополю не только радость победы, но и два несчастья...

Первое произошло через два дня после отбитого штурма. Уже 6(18) июня, в день штурма, Тотлебен был контужен. Но он бодрился и не хотел лечь в постель.

Спустя два дня, 8(20) июня, осматривая батарею Жерве, он был ранен, и очень тяжело. Тотлебен надолго выбыл из строя, и жизнь его была временами в опасности, хотя вначале все-таки он силился на одре страданий принимать участие в работе, даже когда его увезли из Севастополя.

Нахимов остался отныне один.

Во время штурма 6(18) июня Нахимов побывал и в самом опасном месте — на Малаховом кургане. Французы ворвались уже на курган, ряд командиров был переколот немедленно, солдаты сбились в кучу. Нахимов и два его адъютанта скомандовали: «В штыки!» — и выбили французов. Для присутствовавших непонятно было, как мог уцелеть Нахимов в этот день. Это произошло уже после хрулевской контратаки, и Нахимов таким образом довершил в этот день дело спасения Малахова кургана, начатое Хрулевым.

Вообще кровавое поражение союзников 6(18) июня 1855 года, когда был отбит с громадными для них потерями штурм 3-го и 4-го отделений русской оборонительной линии, покрыло новой славой имя Нахимова. Малахов курган только потому и мог быть отбит и остался в русских руках, что Нахимов вовремя измыслил и осуществил устройство особого, нового моста, укрепленного на бочках, по которому в решительные часы перед штурмом и перешли спешно отправленные подкрепления из неатакованной непосредственно части на Корабельную сторону (где находится Малахов курган). Нахимов затеял постройку этого моста еще после первого бомбардирования Севастополя, 5 октября, когда в щепки был разнесен большой мост через Южную бухту, покоившийся на судах. Этот новый

мост, покоившийся на бочках, оказал неоценимые услуги, и поправлять его было несравненно легче и быстрее, чем прежний.

Подобно тому как в свое время Меншикову пришлось понять, что ему никак не уйти от неприятной обязанности представить Нахимова к Белому Орлу, так и Остен-Сакен и Горчаков пред лицом гарнизона, который видел, что делает ежедневно и еженощно Нахимов и что сделал он в день штурма 6(18) июня, поняли свой повелительный долг. Но надо отдать должное Остен-Сакену. Он никогда не соревновался с Нахимовым и даже не завидовал Нахимову: слишком уж, прямо до курьеза, несоизмеримо было их моральное положение в осажденной крепости и их военное значение. И чувствуется, что Остен-Сакен и Горчаков сами хотят греться в лучах нахимовской славы, когда мы читаем приказ по войскам, отданный после победоносного боя 6(18) июня: «Доблестная служба помощника моего, командира порта адмирала Нахимова, одушевляющего примером самоотвержения чинов морского ведомства и столь успешно распоряжающегося снабжением обороны Севастополя, известна всей России. Но не могу не упомянуть, что подкрепления, посланные на атакованную часть Севастополя, разделенную Южною бухтою, переходили по устроенному адмиралом Нахимовым пешеходному мосту на бочках, без чего Корабельная сторона, вмещающая в себе Малахов курган — ключ позиции, могла пасть, ибо прежний мост на судах легко был поврежден неприятельскими выстрелами и в одиннадцатидневное бомбардирование помянутое сообщение было прервано».

Ничего нового о Нахимове севастопольскому гарнизону этот приказ не сказал. Вот случайно записанный очевидцами и случайно поэтому дошедший до нас эпизод, прямо относящийся к этому кровавому дню июньской русской победы: «Каждый из храбрых защитников после жаркого дела осведомлялся прежде всего, жив ли Нахимов, и многие из нижних чинов не забывали своего отца-начальника даже и в предсмертных муках. Так, во время штурма 6 июня один из рядовых пехотного графа Дибича Забалканского полка лежал на земле близ Малахова кургана. «Ваше благородие, — кричал тот же раненый в предсмертных муках, — я не помощи хочу просить, а важное дело есть...» Офицер возвратился к раненому, к которому в то же время подошел моряк. «Скажите, ваше благородие, адмирал Нахимов не убит?» — «Нет». — «Ну, слава богу! Я могу теперь умереть спокойно...» — это были последние слова умирающего».

Встал вопрос о новой награде Нахимову. Известно было, как бедно и скудно живет Нахимов, раздающий весь свой оклад матросам и их семьям,

а особенно раненым в госпиталях. Во всяком случае, решено было за день 6 июня наградить его денежно. Александр II дал ему так называемую аренду, то есть очень значительную ежегодную денежную выдачу, независимо от его адмиральского регулярного жалованья.

25 июня царский указ об аренде был вручен Нахимову.

«Да на что мне аренда? Лучше бы они мне бомб прислали!» — с досадой сказал Нахимов, узнав об этой награде.

Он сказал это 25 июня. Бомбы ему были нужны в особенности потому, что расход боеприпасов, произведенный 6 июня, еще не был как следует пополнен, а что генерал Пелисье готовится получить близкий реванш за отбитый штурм, в этом сомнений не было.

Вообще мечтать о том, что он будет делать с только что полученной арендой, Нахимову пришлось недолго, только три дня — от 25 до 28 июня. Но мы точно знаем эти мечты. «Удостоившись по окончании последней бомбардировки Севастополя получить в награду от государя императора значительную аренду, он только и мечтал о том, как бы эти деньги употребить с наибольшей пользой для матросов или на оборону города», — говорят нам источники.

Жить ему оставалось в это время лишь несколько суток. Смерть, которой он бросал вызов за вызовом, уже стояла за его спиной.

«Берегите Тотлебена, его заменить нечем, а я — что-с! Не беда, как вас или меня убьют, а вот жаль будет, если случится что с Тотлебенем или Васильчиковым!» Это и другое все в том же роде Нахимов повторял настойчиво не только в разговоре с Остен-Сакеном, но всякий раз, как его убеждали не рисковать так безумно, как он это стал делать, в особенности после потери Камчатского люнета и Селенгинского и Волынского редутов. Ведь и на Камчатском люнете в конце концов матросы, не спрашивая, схватили его и вынесли на руках, потому что он медлил, и еще несколько секунд — и он был бы убит зуавами или в лучшем случае изранен и взят в плен.

Один из храбрейших сподвижников Нахимова по защите Севастополя, князь В. И. Васильчиков, давно его пристально наблюдавший, нисколько не обманывался в тайных побуждениях адмирала: «Не подлежит сомнению, что Павел Степанович пережить падение Севастополя не желал. Оставшись один из числа всех сподвижников прежних доблестей флота, он искал смерти и в последнее время стал более, чем когда-либо, выставлять себя на банкетах, на вышках бастионов, привлекая внимание французских и английских стрелков многочисленной своей свитой и блеском эполет...»

Свиту он обыкновенно оставлял за бруствером, а сам выходил на банкет и долго там стоял, глядя на неприятельские батареи, «ожидая свинца», как выразился тот же Васильчиков.

Генерал-лейтенант М. И. Богданович передает слышанное им лично от адмирала П. В. Воеводского и адмирала Ф. С. Керна (бывших при Нахимове еще капитанами 1-го ранга), и их слова, так же как воспоминания Стеценко, могущественно подтверждают все, что мы знаем из других свидетельств. Нахимов в своих приказах писал, что Севастополь будет освобожден, но в действительности не имел никаких надежд. Для себя же лично он решил вопрос уже давно, и решил твердо: он погибнет вместе с Севастополем.

«Если кто-либо из моряков, утомленный тревожной жизнью на бастионах, заболел и выбившись из сил, просился хоть на время на отдых, Нахимов осыпал его упреками: «Как-с! Вы хотите-с уйти с вашего поста? Вы должны умирать здесь, вы часовой-с. Вам смены нет-с и не будет! Мы все здесь умрем. Помните, что вы черноморский моряк-с и что вы защищаете родной ваш город! Мы неприятелю здесь отдадим одни наши

трупы и развалины. Нам отсюда уходить нельзя-с! Я уже выбрал себе могилу, моя могила уже готова-с! Я лягу подле моего начальника Михаила Петровича Лазарева, а Корнилов и Истомина уже там лежат. Они свой долг исполнили, надо и нам его исполнять!» Когда начальник одного из бастионов при посещении его части адмиралом доложил ему, что англичане заложили батарею, которая будет поражать бастион в тыл, Нахимов отвечал: «Ну что ж такое! Не беспокойтесь, мы все здесь останемся!»

Как прежде Меншиков, так теперь Горчаков боялся даже заговорить при Нахимове об оставлении Севастополя.

«Но сам князь Горчаков не утешал себя... розовыми надеждами. По-прежнему озабочивала его одна мысль — как уменьшить по возможности потерю в наших войсках в случае необходимости оставить Севастополь. Признавая такой печальный конец неизбежным, он не переставал обдумывать план исполнения трудного отступления на Северную сторону. По распоряжению его заготавливались втайне материалы для постройки гигантского плавучего моста через всю ширину большой бухты, на протяжении 430 сажен. Вскоре потом приступлено было и к самой постройке моста под руководством начальника инженеров генерал-майора Буцмейстера, к величайшему негодованию моряков и других истых защитников Севастополя, которые не допускали ни в каком случае возможности оставить эту святыню в руках врагов», — писал впоследствии один из офицеров.

Узнав о намерении главнокомандующего устроить мост на рейде, Павел Степанович, опасаясь, чтобы это не поселило в гарнизоне мысли об оставлении Севастополя, сказал И. П. Комаровскому: «Видали вы подлость? Готовят мост через бухту! Ни живым, ни мертвым отсюда я не выйду». И он сдержал свое слово.

С этим согласуется одна его заветная мечта: остаться с кучкой матросов-единомышленников где-нибудь в не взятой неприятелем укрепленной точке и, даже если город будет сдан, продолжать сражаться, пока их всех не перебьют.

«По своему характеру враг полумер, он при жизни часто говаривал, что, если весь Севастополь будет взят, он со своими матросами продержится на Малаховом кургане еще целый месяц», — свидетельствует очевидец.

Многие «странности» Нахимова в последние месяцы жизни объяснились лишь потом, когда стали вспоминать и сопоставлять факты. Никто, кроме Нахимова, не носил эполет в Севастополе: французы и англичане били прежде всего командный состав. И никто долго не мог

понять его упорства в вопросе о смертельно опасных золотых адмиральских эполетах Нахимова, который так небрежно относился всегда к костюму и украшениям, так глубочайше равнодушен был к внешнему блеску и отличиям.

Поведение Нахимова давно уже, особенно после падения Камчатского люнета и двух редутов, вообще обращало на себя внимание окружающих, и они не знали, как объяснить некоторые его поступки. Насколько Нахимов был прямо враждебен всякому залихватскому, показательному молодечеству, это хорошо знали все еще до того, как он особым приказом потребовал от офицеров, чтобы они не рисковали собой и своими людьми без прямой необходимости. Поэтому либо просто удивлялись, не пробуя пускаться в объяснения, либо говорили о фатализме. «При этом он (Нахимов) был в высшей степени фаталист, — пишет один из наблюдавших его севастопольцев. — Посещая наше отделение, он всякий раз непременно ходил на банкет в различных местах, чтобы взглянуть на неприятельские батареи, но никогда в таких случаях не ходил по траншеям, а всегда по площадкам, где пули скрещивались непрерывно. Однажды, когда он хотел пройти с левого фланга в мой блиндаж, Микрюков сказал ему: «Здесь убьют, пойдемте через траншеи». Он отвечал: «Кому суждено...» — «А вы фаталист?» — заметил я. Он промолчал и пошел все-таки по открытой площадке, то есть прямо под прицельные французские пули, для которых неспешно шагавшая высокая фигура с блестящими эполетами была превосходной мишенью».

28 июня Нахимов верхом поехал с двумя адъютантами смотреть третий и четвертый бастионы, по дороге отдавая распоряжения обычного бытового характера: командиру третьего бастиона, куда как раз ехал Нахимов, лейтенанту Викорету, только что оторвало ногу, нужно было назначить другого и т. д. Одного из адъютантов адмирал отправил с распоряжениями. «Оставшись вдвоем, — рассказал лейтенант Колтовский, его сопровождавший, лейтенанту Белавенцу, — мы поехали сперва на 3-е отделение, начиная с батареи Никонова, потом зашли в блиндаж к Панфилову, напились у него лимонаду и отправились с ним же на третий бастион». Осмотрев его и еще остальную часть 3-го отделения «под самым страшным огнем», Нахимов поехал шагом на 4-е отделение.

Бомбы, ядра, пули летели градом вслед Нахимову, который был «чрезвычайно весел» против обыкновения и все говорил адъютанту, не желавшему отъехать от него: «Как приятно ехать такими молодцами, как мы с вами! Так нужно, друг мой, ведь на все воля бога! Что бы мы тут ни делали, за что бы ни прятались, чем бы ни укрывались — мы этим

показали бы только слабость характера. Чистый душой и благородный человек будет всегда ожидать смерти спокойно и весело, а трус боится смерти, как трус», — сказав это, Нахимов вдруг задумался.

Но вот оба всадника оказались уже на Малаховом кургане и на том именно бастионе, где пал 5 октября Корнилов и который с тех пор назывался Корниловским. Нахимов тут соскочил с коня, матросы и солдаты бастиона сейчас же окружили его.

«Здорово, наши молодцы. Ну, друзья, я смотрел нашу батарею, она теперь далеко не та, какой была прежде, она теперь хорошо укреплена! Ну, так неприятель не должен и думать, что здесь можно каким бы то ни было способом вторично прорваться. Смотрите же, друзья, докажите французу, что вы такие же молодцы, какими я вас знаю, а за новые работы и за то, что вы хорошо деретесь, спасибо!» На матросов, по наблюдению окружавших, навеки запомнивших все, что случилось в роковой день, речь и уже самое появление их общего любимца произвели обычное, бодрящее, радостное впечатление. Поговорив с матросами, Нахимов отдал приказание начальнику батареи и пошел по направлению к банкету у вершины бастиона. Его догнали офицеры и всячески стали задерживать, зная, как он в последнее время ведет себя на банкетах. Начальник 4-го отделения прямо заявил Нахимову, что «все исправно» и что ему нечего беспокоиться, хотя Нахимов ни его и никого вообще ни о чем не спрашивал, а шагал все вперед и вперед.

Не зная прямо, что же делать, капитан Керн сказал, что на бастионе сейчас идет церковная служба, так вот не угодно ли пройти туда. «Я вас не держу-с!» — отрезал Нахимов.

Дошли до банкета, Нахимов взял подзорную трубу у сигнальщика и шагнул на банкет. Его высокая сутулая фигура в золотых адмиральских эполетах показалась на банкете одинокой, совсем близкой, бросающейся в глаза мишенью прямо перед французской батареей. Керн и адъютант сделали еще последнюю попытку предупредить несчастье и стали убеждать Нахимова хоть пониже нагнуться или зайти за мешки, чтобы смотреть оттуда. Нахимов, не отвечая, все смотрел в трубу в сторону французов. Просвистела пуля, уже явно прицельная, и ударилась около самого локтя Нахимова в мешок с землей. «Они сегодня довольно метко стреляют», — сказал Нахимов, и в этот момент грянул новый выстрел. Адмирал без единого стога пал на землю как подкошенный.

Штуцерная пуля ударила в лицо, пробила череп и вышла у затылка.

Он уже не приходил в сознание. Его перенесли на квартиру. Прошли день, ночь, снова наступил день. Лучшие наличные медицинские силы

собрались у постели. Он изредка открывал глаза, но смотрел неподвижно и молчал. Наступила последняя ночь, потом утро 30 июня 1855 года. Толпа молчаливо стояла около дома. Издали грохотала бомбардировка.

Вот показание одного из допущенных к одру умирающего:

«Войдя в комнату, где лежал адмирал, я нашел у него докторов, тех же, что оставил ночью, и прусского лейб-медика, приехавшего посмотреть на действие своего лекарства. Усов и барон Крюденер снимали портрет: больной дышал и по временам открывал глаза. Но около 11 часов дыхание сделалось вдруг сильнее: в комнате воцарилось молчание. Доктора подошли к кровати. «Вот наступает смерть», — громко и внятно сказал Соколов, вероятно, не зная, что около меня сидел его племянник П. В. Воеводский. Последние минуты Павла Степановича оканчивались. Больной потянулся в первый раз, и дыхание сделалось реже... После нескольких вздохов снова вытянулся и медленно вздохнул... Умирающий сделал еще конвульсивное движение, еще вздохнул три раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха. Но прошло несколько тяжелых мгновений: все взялись за часы, и когда Соколов громко проговорил: «Скончался», было 11 часов 7 минут... Герой Наварина, Синопа и Севастополя, этот рыцарь без страха и укоризны, окончил свое славное поприще».

Матросы толпились вокруг гроба целые сутки, целуя руки мертвеца, сменяя друг друга, уходя снова на бастионы, и возвращались к гробу, как только их опять отпускали. Вот письмо одной из сестер милосердия, живо восстанавливающее пред нами переживавшийся момент:

«...Во второй комнате стоял его гроб золотой парчи, кругом много подушек с орденами, в головах три адмиральских флага сгруппированы, а сам он был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы... По загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. Да и с тех пор я не видела ни одного моряка, который бы не сказал, что с радостью лег бы за него».

Похороны Нахимова навсегда запомнились очевидцам: «Никогда я не буду в силах передать тебе этого глубокого, грустного впечатления... Море с грозным и многочисленным флотом наших врагов... Горы с нашими бастионами, где Нахимов бывал беспрестанно, ободряя еще более примером, чем словом... И горы с их батареями, с которых так беспощадно они громят Севастополь и с которых они и теперь могли стрелять прямо в процессию: но они были так любезны, что во все это время не было ни одного выстрела. Представь же себе этот огромный вид, и над всем этим, а особенно над морем, мрачные, тяжелые тучи, только кой-где вверху

блистало светлое облако. Заунывная музыка, грустный перезвон колоколов, печально-торжественное пение... Так хоронили моряки своего синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника».

Роковое для Севастопольской обороны значение гибели Нахимова поняли все. «28 июня — печальный день: убит П. С. Нахимов. Число геройских защитников Севастополя редело, да и не было таких влиятельных, как покойный Нахимов, а между тем Горчаков настойчиво торопил подготовить отступление от Севастополя, и потому рвение защитников Севастополя слабело» — читаем в черновых заметках Ухтомского.

Мучившийся сам от своей тяжелой раны, Тотлебен уже 29 июня узнал о смертельной ране Нахимова, о том, что надежды нет. «Вчера вечером Нахимов опасно ранен в голову на Малаховом кургане, — пишет он жене. — Это печальное событие глубоко меня потрясло. Нахимова я любил, как своего отца. Этот человек делал невероятно много, его все любили, все высоко ценили. Пользуясь его влиянием во флоте, мы осуществили многое, что казалось невозможным. Он был вроде патриотов классической древности, он безгранично любил Россию и всегда был готов всем пожертвовать для чести своего отечества, как некоторые возвышеннейшие патриоты из древних греков и древних римлян. И при этом какое нежно чувствующее сердце! Как заботился он обо всех страдающих! Он всех посещал, всем помогал!..»

«Хозяин Севастополя» исчез, и хотя в осажденном городе, ежедневно и еженощно осыпаемом разрывными и зажигательными бомбами, успели за девять месяцев, протекших от начала осады до гибели Нахимова, более чем достаточно привыкнуть к смерти, но к этой смерти никак не могли привыкнуть и не могли примириться с ней.

Потрясена была и вся Россия.

«Нахимов получил тяжкую рану! Нахимов скончался! Боже мой, какое несчастье!» — эти роковые слова не сходили с уст московских жителей в продолжение трех последних дней. Везде только и был разговор, что о Нахимове. Глубокая, сердечная горечь слышалась в непрерывных сетованиях. Старые и молодые, военные и невоенные, мужчины и женщины показывали одинаковое участие», — писал московский историк Погодин после получения фатального известия.

«Был же уголок в русском царстве, где собрались такие люди, — говорил Т. Н. Грановский, узнав о гибели Нахимова. — Лег и он. Что же? Такая смерть хороша; он умер в пору. Перед концом своего поприща вызвать общее сочувствие к себе и заключить его такой смертью... Чего же

жалеть более, да и чего бы еще дождался Нахимов? Его недоставало возле могил Корнилова и Истомина. Тяжела потеря таких людей, но страшнее всего, чтобы вместе с ними не погибло в русском флоте предание о нравах и духе таких моряков, каких умел собрать вокруг себя Лазарев».

Если первым, явственным ударом погребального колокола по Севастополю была потеря Камчатского люнета и двух соседних редутов, то вторым было тяжелое ранение Тотлебена, а третьим, бесспорно, была гибель Нахимова. Смерть адмирала явилась в полном смысле слова началом конца Севастополя. В России это поняли, по-видимому, все следившие за титанической борьбой, а больше всего принимавшие в ней прямое участие.

Твердыня, за которую Нахимов отдал жизнь, не только стоила врагам не предвиденных ими ужасающих жертв, но своим, почти год длившимся отчаянным сопротивлением, которого решительно никто не ожидал ни в Европе, ни у нас, совсем изменила все бывшее умонастроение неприятельской коалиции, заставила Наполеона III немедленно после войны искать дружбы с Россией, принудила Англию отказаться от очень многих требований и претензий, фактически свела к ничтожному минимуму русские потери при заключении мира и высоко вознесла моральный престиж русского народа.

Это историческое значение Севастополя, с несомненностью, стало определяться уже тогда, когда Нахимов, покрытый кровью и славой, лег в могилу.

1944 год